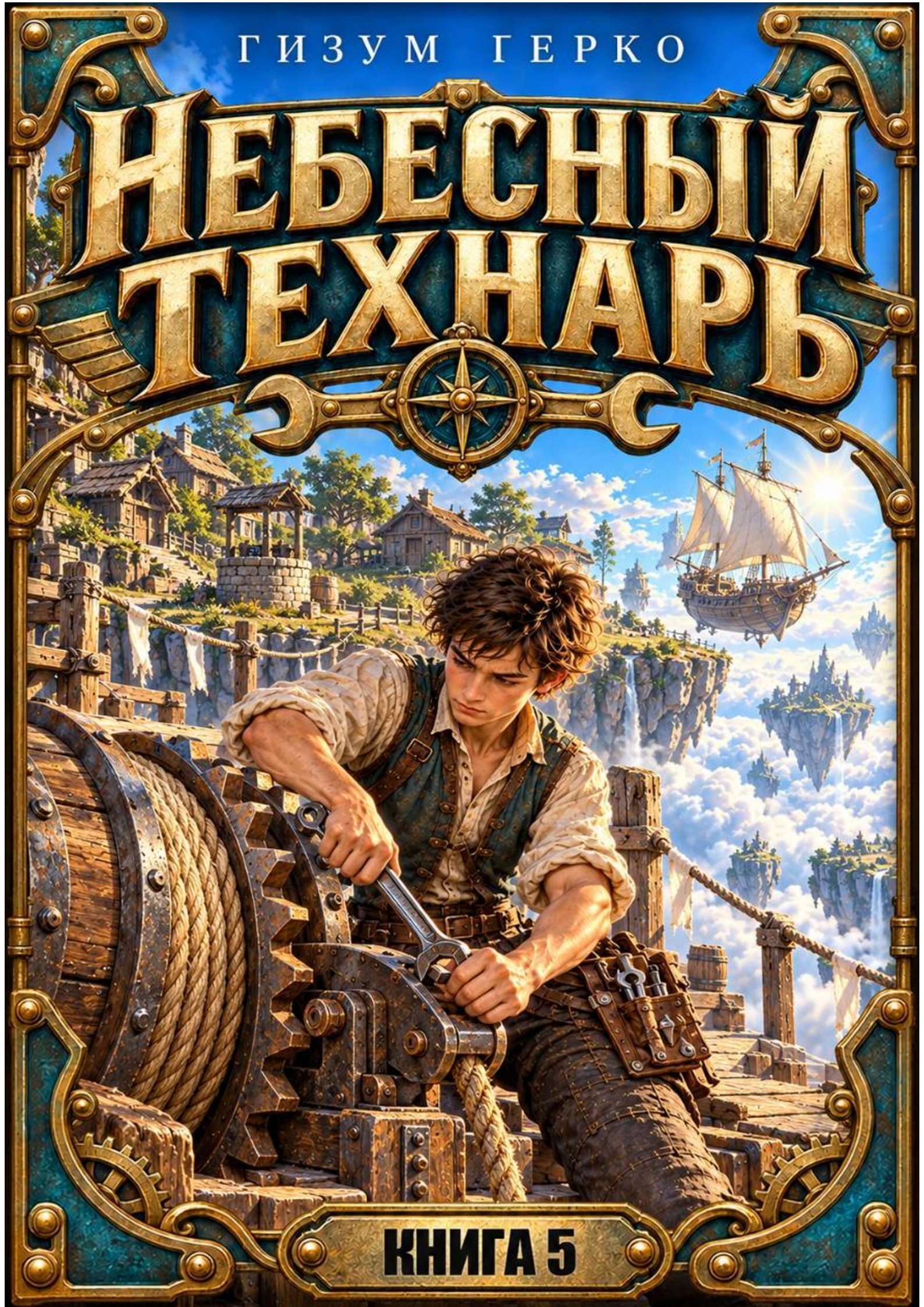
ГИЗУМ ГЕРКО

НЕБЕСНЫЙ ТЕХНАРЬ



КНИГА 5

Гизум Герко

Небесный Технарь 5

«Автор»
2026

Герко Г.

Небесный Технарь 5 / Г. Герко — «Автор», 2026

На острове Кудель высоту меряют по зарубкам на столбе. За сезон он опустился на четыре ладони. Жители ещё чинят снасти и собирают воду из облаков, а Гильдия уже предлагает им бросить дома.Меня привезли сюда осмотреть латунную вещь, которую двое проповедников принесли к местному колодцу. В глубине скалы слышу стук, похожий на работу насоса, который хватает воздух. Придётся спускаться и разбираться, что там засорилось, стёрлось или сломалось.

© Герко Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 10
Глава 3 15
Глава 4 20
Глава 5 25
Глава 6 30
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Небесный Технарь 5

Глава 1

Клипер набирал высоту ровно, без единого рывка. Я ждал, когда он наконец перестанет подниматься.

На «Шустром» подъем всегда чувствовался коленями. Кристаллы под килем там брали нагрузку неравномерно, судно шло вверх ступенями, с короткими провалами, после каждого из которых Игнат ругался на кристаллы. Здесь ступеней не было. Палуба давила на подошвы одинаково от кнехта до кнехта, как пол в хорошо выставленном цеху, где все станки стоят на одной отметке. Я считал про себя вдохи. Если белые жгут в небе, им для этого нужна высота. Чем выше, тем меньше я смогу сделать, когда придет время что-то делать. Поэтому я считал, а не думал о том, что будет.

На сотом вдохе клипер перестал подниматься и лег на курс.

Это я тоже почувствовал ногами. Давление под подошвами выровнялось, палуба чуть наклонилась к корме. Судно пошло вперед, не вверх. Солнце, только что стоявшее справа, ушло влево и вперед, к носу. Мы шли на юг. Что лежит на юге от Семи Причалов, кроме соляных шаланд и возчиков с парусиной, я не знал. Зато знал, что для того, чтобы жечь, идти куда-то незачем. Если жечь, то и здесь высоты хватило бы, лишний ход ни к чему. Клипер куда-то шел, не торопясь.

Серый в трех шагах от меня стоял так же, как при отходе. Он смотрел не на меня, а вдоль борта, руки держал свободно. На «Пронзающем» палубные так стерегли ценный груз: отступали в сторону, оставляя перед собой и ящик, и проход вдоль борта. Здесь серый выбрал ту же позицию. Чтобы встать и пройти к люку, мне пришлось бы пересечь его взгляд. Меня никто не связал. Веревки бы здесь нашлись, их просто не стали тратить. С палубы на такой высоте уходить было некуда. Мы оба понимали это без слов.

На ящик я сел и начал смотреть.

Делать на чужом судне без дела можно только одно. На заводе, когда меня приводили в цех, где я еще не работал, я первым делом обходил его по периметру и запоминал, где что стоит и что чем держится. Спрашивать начинал потом. Здесь спрашивать было некого, поэтому я обходил цех глазами, не вставая с ящика.

Плиты по бортам стояли в гнездах, как на «Шустром», но гнезда были литые, в одно целое с бортовым поясом, без накладных скоб. Кромки плит не имели ржавого налета, который на всех виденных мной судах появлялся ко второму сезону. Либо их чистили каждую неделю, либо металл был другой. Я склонялся ко второму, потому что чистить так ровно, без единого следа от скребка, никто не стал бы. Кнехты были литые, без шва. Веревки на них лежали так, будто их уложили по шаблону. Люк, куда увели седого, я слышал еще на отходе, вернее, не слышал. Теперь разглядел петли. Утопленные, без шплинтов, на каждой темная полоска свежей смазки. Ни одной бухты под ногами, ни одного обрезка. На «Вехе» Дементий сплевывал за борт, когда видел на палубе обрывок бечевы. Здесь ему было бы не из-за чего плевать.

Команду судна я насчитал в двенадцать человек. Все стриженые, в сером, без знаков, по которым можно было бы понять, кто из них старший. Команды они отдавали без крика, коротко, так что я ни разу не расслышал слов. Плитами управляли из кормовой будки, закрытой от меня. Парус на единственной короткой мачте поставили через час после отхода, когда судно вошло в ровный ветер. Ставили его четверо. На «Пронзающем» за это время только успели бы распутать шкот.

Кормовая будка занимала меня больше всего. Низкая, обшитая тем же светлым металлом, что и борта, с двумя узкими окнами вперед и ни одного назад. Из нее за утро дважды

выходил один человек, а на его место входил другой. Снаружи к ее задней стенке подходили четыре трубы, тонкие, медные, под оплеткой, по одной от каждого бортового гнезда. Я так и не увидел, во что они входят внутри. На «Шустром» Игнат тоже прятал пульт за медной дверцей и прикрывал щель плечом, но там прятал один человек. Здесь руки рулевого были закрыты стенкой от всей палубы.

Такой цех мне еще не встречался. Чистый, тихий, с хорошим инструментом и людьми, которые знают свое место у станка. В таком цеху делают что-то одно и делают хорошо. Что именно делают здесь, я пока не знал. Догадка Дементия про огонь перестала казаться мне единственной.

Ближе к полудню из люка на палубу вывели седого.

Его вели двое, по сторонам, не держа за руки. Сам он шел медленно, как ходят люди после долгого сидения в тесноте, щурясь на свет. Серый плащ с него сняли. Остался серый же кафтан, левый рукав спущен и застегнут до запястья. Его довели до кормы, поставили лицом к ветру и оставили стоять. Дышал он ртом, коротко, с остановкой через каждые три шага. Зачем его вывели, я понял сразу. Внизу, под палубой, в закрытом помещении человека с таким дыханием надо иногда выводить на воздух. На «Пронзающем» так выводили больных из лазарета, когда Агата разрешала.

Он простоял у кормы столько, сколько нужно, чтобы выпить кружку воды. Потом его повернули и повели обратно к люку. Проходя мимо моего кнехта, он посмотрел на меня.

На ящик, на руки, на лицо. Затем наклонил голову набок, как у ворот Игната и потом через всю площадь. Больше он ничего не сделал. Серые довели его до люка. Люк закрылся так же беззвучно, как в первый раз.

Я остался сидеть и разбирать то, что он сказал мне этим наклоном головы. Понял я, как и прежде, не все. Но понятого хватало на одну мысль. Он был жив. Его держали на судне не для того, чтобы сжечь на первом же подъеме, иначе не стали бы выводить дышать. Человека, которого собираются сжечь, не выгуливают.

В полдень мне принесли хлеб и воду.

Принес тот же серый, что стоял в трех шагах. Поставил на палубу рядом с ящиком, не протягивая в руки, как ставят миску тому, кого не хотят трогать. Хлеб был плотный, серый, с коркой, которую пришлось ломать обеими руками. Левая не сгибалась до конца, засохший порез под холстом натянулся, но хлеб поддался. Вода в кружке была чистая и холодная, холоднее, чем в бочке на «Вехе». Я ел медленно, потому что торопиться было некуда. Такой хлеб пекут, чтобы он неделями лежал в мешке и не плесневел. Для одного дня в небе его не берут.

Человек с лентой подошел, когда я допивал.

Шагов его я не услышал. Просто он оказался у борта рядом с кнехтом, в двух шагах, лицом к тому же борту, что и я. Лента на его плече была чистой, как при досмотре, как у костра, как во дворе. Он не смотрел на меня. Я не стал поворачиваться к нему всем телом, только сел ровнее.

— Круг из золы стоит в седьмой консоли братств. — Он говорил негромко, как во дворе. — Я смотрел его при свете. Посадка чистая, руку он греет так же, как греют живые консоли у третьего причала. Консолей я видел достаточно, чтобы отличить работающую от той, которую ударили руной на час.

Вопроса в сказанном не было, а на утверждения он ответа не ждал. Я промолчал.

— На юге, на струе, есть остров Кудель. Он садится. За сезон ушел вниз на четыре ладони, такого там не помнят. После того как в Семи Причалах сгорела молельня, двое из тех, кто ей молился, ушли на Кудель. Они принесли туда латунь и хранят ее у колодца. Островитянам они говорят, что принесли Якорю то, что он просил. Я должен снять их с острова. Мне нужно знать, что они принесли.

Он помолчал и впервые повернул голову ко мне.

— Я умею отличить то, чему молятся. Деталь я отличить не умею. Ты сумел это в золе, той ночью, когда я ушел от нее с другим человеком. Ты скажешь мне, что у них на острове деталь, а что то, чему молятся. Для этого ты здесь.

Теперь он ждал.

Кружку я поставил на палубу. Сказанное следовало разобрать по частям, как разбирают чужой узел перед тем, как в него лезть. Остров, который садится. Латунь у колодца. Двое из дома с темной дверью, из тех, кто успел разбежаться по лестницам, пока остальных уводили на клипер. И я, который должен сказать про латунь то, чего он сам сказать не может. Ни про огонь, ни про высоту в этом не было ни слова. Само по себе это ничего не значило. Для того чтобы сжечь человека, ему не нужно, чтобы человек сначала что-то сказал.

— Старик, которого увели вниз, тоже отличает деталь, — сказал я. — Вы ведь его об этом спрашивали.

— Он сказал свое. Я его слышал.

Он не повернул головы. Ветер с носа шевельнул конец ленты у него на плече.

— А когда я скажу свое, что будет со мной?

Кружка стояла у моего сапога, вода в ней дрожала вместе с палубой.

— Посмотрим, что ты скажешь.

Ни угрозы, ни обещания в этом не было. Так говорят о детали, которую еще не испытали. Он снова отвернулся к борту. Разговор кончился, я это понял и не стал его тянуть. На заводе с приемщиком тоже не спорили до того, как деталь легла на стол.

Все же один вопрос я задал.

— Остров, который садится. Он садится сам или ему помогли?

Человек с лентой посмотрел на меня еще раз, дольше, чем прежде.

— Этого не знает никто. Островитяне говорят, что знамение. Гильдия говорит, что износ. Ты посмотришь и скажешь третье, если оно есть.

Он ушел на нос, туда, где стоял при отходе. Встал спиной ко мне.

Я просидел на ящике долго. Сказанное про остров легло в столбик на листах под тряпкой на дне ящика, который я сложил в последнюю ночь у Игната. Консоли связаны общей трубой. Труба идет снизу. На Кудели пять консолей из восьми мертвые, сели года три назад, остров пошел вниз следом. Про сам остров ничего нового в его словах не было. Новыми были двое с латунью у колодца и еще одно. Я не ехал на Кудель смотреть консоли, как обещал возчику на свадьбе. Меня туда везли. По своему обещанию я мог бы выбрать день, собрать нужное и договориться о возвращении. Теперь за меня выбрали всё, даже место у борта. На острове станет яснее, позволят ли мне отказаться от работы или уйти после нее. Пока меня кормили, берегли руки и держали под глазом. От такой заботы спокойнее было только телу; голова продолжала считать, кто стоит у люка и сколько шагов до серого.

Еще я думал о Сене с лампой на краю четвертого причала. Думать об этом было ни к чему. Помочь ему отсюда я ничем не мог, а Игнат обещал сохранить тварь вместе с верстаком. Игнат обещаний на ветер не давал. Поэтому я заставил себя думать о другом, о том, что у меня в ящике и чего там нет. Щупы, ключ, прутья, огнерез с нагаром, манометр. Латуни ни куска. На острове, где нет руины, по словам возчика, нет ни мастера, ни латуни. Если там что-то придется ставить, ставить будет не из чего. Эту мысль я тоже отложил, потому что сначала надо было увидеть, что там стоит. Восемь консолей, говорил возчик. Пять мертвых. Восемь консолей в одной трубе, как восемь форсунок на одной топливной рампе. Если три живые держат остров, который рассчитан на восемь, они держат его не своей силой, а тем, что у них осталось от запаса. Запас кончается не сразу. Он кончается ступенями, по ладони за сезон, пока не кончится весь. Четыре ладони за сезон значило, что ступени стали чаще. Я видел такое на прессе, когда у насоса подачи начинал пропускать клапан на всасе. Уплотнения на прессе были целы, а давление он переставал держать, сначала чуть, а потом однажды утром совсем.

К вечеру клипер вошел в струю.

Я понял это раньше, чем увидел. Плиты по бортам сменили гул. Он стал выше и тоньше, как у станка, когда на вал легла чужая сила. Палуба под ногами задрожала мелко и часто, не как в подъем, а как на «Шустром» в тот день, когда он шел полным ходом над грядой. Потом я увидел облака. Их вытянуло нитками, все в одну сторону, вдоль нашего хода. Они тянулись мимо борта быстрее, чем положено облакам. Ветер, который до того дул ровно, пошел сбоку и зашипел в снастях, как пар в неплотной трубе.

Четверо серых убрали парус за то же время, за которое ставили. За их руками я следил. Шкот они не отвязывали, а сбрасывали с утки одним движением. Парусина сама ложилась складками на гик, как ее укладывали заранее. На «Вехе» парус после уборки лежал кучей, пока Дементий не находил, кому его свернуть. Здесь он лег сам. Кто-то на этом судне думал о парусе еще до того, как его поставили.

Насколько позволял серый, я подошел к борту и посмотрел вниз и вперед. Под нами облака шли плотнее и быстрее, чем на нашей высоте, сбиваясь в светлый жгут. Клипер шел не по жгуту. Он держался выше и сбоку, на краю, где облака только вытягивались, но еще не сбивались в одно. Рулевой в кормовой будке правил так, чтобы дрожь палубы оставалась одинаковой, не сильнее и не слабее. Подошвами это чувствовалось. Каждый раз, когда дрожь менялась, судно чуть доворачивало. Дрожь возвращалась к прежней.

Поток в трубе.

На заводе я видел это на стенде, где гоняли воду по стеклянной трубе с подкрашенной струйкой. Когда давали полный напор, середину рвало вихрями, легкое там крутило и било о стекло, а ближе к стенке струйка шла ровно. Если держать у края, несло без вреда. Рулевой держал край. Малое судно в ядро такого потока не сунешь. Крупное, наверное, тоже не всякое. Этот клипер шел по краю. Несло его ровно, вместе с облаками нашего слоя, а нижние уходили вперед.

Я протянул руку к люку рядом с кнехтом и тронул щупом петлю. Хотел понять, что за смазка, если ее не стягивает на такой скорости. Серый шагнул ко мне и отвел мою руку в сторону, не сильно, просто отвел, как отводят руку ребенка от горячего. Щуп я убрал. Про смазку можно было узнать и позже, а на чужом судне проверять, чего нельзя, второй раз не стоило.

Стемнело быстро. Небо над нами ушло в черноту сразу, без сумерек, а облака внизу белели под луной, ровно, без теней. Фонари на клипере зажгли желтые, свои, те же, что я видел с нижней балки на свадьбе Усти. Тогда они казались россыпью по носу, корме и борту. Отсюда оказалось, что их восемь и стоят они по два, у каждого бортового гнезда, чтобы из будки было видно кромку плит.

Серый принес кусок парусины, свернутый вчетверо, положил рядом с ящиком, на ночь, вернулся на свое место. Благодарить я не стал, потому что не знал, принято ли здесь благодарить, а делать то, что не принято, на чужом судне не следовало. Парусину я разложил у кнехта, лег и подложил под голову обвязку Сивого. Старое кованое кольцо, пришитое Корнеем слева, уперлось в затылок. Я передвинул обвязку. Кольцо все равно чувствовалось, как чувствуется в кармане ключ, который привык носить.

Дрожь палубы передавалась в спину и в ребра. На «Шустром» от такой дрожи я бы не заснул, потому что ждал, когда что-нибудь отвалится. Здесь ждать было нечего. Дрожь шла ровно, как у хорошего станка. Под нее я заснул бы раньше, чем собирался.

Перед сном я поймал себя на том, что слушаю ящик.

Ящик стоял у головы. В нем лежал инструмент, узелок с корками, листы под тряпкой на дне. Больше ничего. Я знал это, потому что сам его собирал при человеке с лентой. Но ухо, привыкшее за месяцы к тому, что в ящике скребется, все равно ждало скребка. Ничего не скреблось. Тварь осталась в трубе под полом у Игната, с котелком и гайками. Стружкой ее

теперь кормил Сеня, он умел. Так было правильно, я сам это решил у ворот. Я повернулся на другой бок, чтобы ящик был за спиной, и заснул.

Проснулся я от того, что дрожь изменилась.

Еще не рассвело, но облака внизу посветлели. Плиты по бортам сменили голос, запели ниже, прежним. Палуба дрожала реже и глубже. Клипер сходил с края струи, вбок. Дрожь менялась от того, что поток отпускал судно, а рулевой в будке делал это так же плавно, как держал край. Серый у кнехта стоял на том же месте. Стоял там уже другой, сменный, смотрел так же вдоль борта. Смену я проспал. На «Пронзающем» смену вахты слышал весь нижний трюм.

Парусину я свернул и положил на ящик. У кнехта повернул плечи по кругу, назад и вперед, размял кисти, присел, сколько присядется, как делал каждое утро с того дня, как пришел в себя в этом теле. Поправил на плече обвязку и подошел к борту.

Рассвет в струе приходил снизу, из облаков. Палуба, фонари, лица серых освещались не сверху, как на земле, а с изнанки, бледно и ровно, как освещается цех через матовое стекло. Сначала я увидел одни облака. Потом в них, внизу и впереди, открылась скала.

Небольшая, вытянутая вдоль светлого жгута облаков, длиной, как мне показалось с высоты, шагов в тысячу, она лежала чуть в стороне от него. С длинного ее бока, обращенного от жгута, вниз свисало что-то белое. Много белых длинных полос, одна рядом с другой, как парусина, вывешенная на просушку. Я не сразу понял, что это и есть ленты с травой, о которых говорил на свадьбе шкипер соляной шаланды. Полосы висели ровно, нижним краем в светлых облаках. От потока они шевелились все вместе, как бахрома. По тому, как они шевелились, можно было судить, где ядро, а где край.

Клипер снижался к скале по дуге, и скала разворачивалась подо мной.

На верхнем, плоском ее краю стояли дома, низкие, с плоскими крышами, с чем-то вроде дощатых ящиков на крышах. У дальнего по потоку конца скалы темнел деревянный выступ, выдвинутый над пустотой, с кольцами по торцу. Там же, за камнем, о который разбивался поток, облака лежали неподвижно, как вода за опорой моста.

В затишье стояло судно.

Узкое, черное от носа до кормы, без флага. Оно стояло на кольцах носом к скале. С его палубы, я был уверен, уже смотрели на клипер. Лиц на таком расстоянии я не различал, да мне и не нужно было их различать.

Этот кораблик я знал. Меньше месяца назад он уходил с нижней балки Семи Причалов после ночи, когда старшины братств вывели своих людей с фонарями на причалы. На нем уходил человек в чистых перчатках, которого я вытащил из Горла.

Клипер шел вниз, к затишью. Черный кораблик становился ближе.

Глава 2

К причалу клипер не пошел. Он встал в затишье, в сотне шагов от скалы, на двух кольцах, вбитых в каменный зуб, который торчал из облака, как торчит свая у берега. Серые с носа и кормы поймали их крюками с первого раза. Черный кораблик стоял от нас в полусотне шагов, ближе к скале. Теперь я видел его как следует. Узкое судно, чуть длиннее «Шустрого», черные борта без имени, на корме лебедка с храповиком, а под брюхом стропы с крюками, как подвешивают под баржу груз, который не лезет на палубу. На палубе стояли двое, у лебедки. Оба смотрели на клипер и не делали ничего. Человека в перчатках среди них не было.

Шлюпку спустили с кормы. Она висела там на двух блоках, малая, с камнем под днищем, в кожухе. Спускали ее четверо, по два на блок, так ровно, что кожух ни разу не задел борт. Первыми в нее сошли двое серых. Потом человек с лентой показал мне на трап. Я взял ящик, перебросил обвязку на плечо и спустился. Он спустился последним. Шлюпка под его весом не качнулась.

Серый на корме взялся за рулевое весло. Камень под днищем загудел тонко, тише, чем кристаллы «Шустрого», ровнее. Шлюпка пошла к скале. Я сидел на ящике лицом к причалу и смотрел, как он растет.

Деревянный выступ, который я видел с высоты, вблизи оказался настилом в двадцать шагов длиной, на толстых брусьях, выдвинутым над пустотой прямо из скалы. Брусья уходили в камень в трех местах. В каждом из трех мест камень был другой, темнее и глаже, чем сама скала, с кожухом, какой я знал по причалам братств. Три консоли. Возчик говорил, под причалом три живые. На них стояли два кольца, кованые, в ржавчине, пустые. У скалы, на брусьях, лежал под парусиной ялик, маленький, с заплатой светлой доски на темном борту. Чей, я не спросил. Клипер к ним не пошел. Я понимал почему. Шкипер на свадьбе говорил, что причал держится на трех консолях. Судно, которое тяжелее шаланды, на такие кольца не ставят. На «Пронзающем» к причалу, которого не знали, тоже сперва посылали шлюпку.

На настиле стояли люди. Человек семь, может, восемь, с краю, не у колец. Они не махали и не кричали. Стояли тесной группой; передние оставили до колец несколько шагов, задние вытягивали шеи, стараясь рассмотреть тех, кто сидел в шлюпке. Белый клипер в затишье они видели, скорее всего, впервые. Черный кораблик стоял у них уже сколько-то дней, к нему они привыкли. К белому тут привыкнуть еще не успели.

Шлюпка подошла к настилу под кольцами. Серый с носа накинул конец на кольцо, подтянул. Между бортом и настилом осталась щель в локоть. Человек с лентой перешагнул ее первым, не глядя под ноги. Я перешагнул вторым, с ящиком, и, как только подошва встала на доски, перестал слушать людей и начал слушать настил.

Доски дрожали. Дрожь была ожидаемой, под ними были консоли. Но дрожали они неровно. От левого бруса, ближнего к кольцам, шел ровный гул, такой, какой я знал с причала Тишко, только слабее, как от третьей консоли в первые дни после прута. От среднего бруса шло почти ничего. Дрожь там была, но такая, какую дает камень, если по нему далеко ударить. От правого бруса гул был, но рваный, с перебоями, как у мотора, в котором один цилиндр работает через раз. Одна тянет. Две едва. Возчик на свадьбе говорил, что три еще дышат, а тяги почти нет. Теперь я слышал подошвами, как именно они дышат.

Я поставил ящик, присел и положил ладонь на доски над левым брусом. Потом над средним. Потом над правым. Люди на настиле молчали и смотрели. Человек с лентой тоже смотрел, но не на меня, а на них.

— Это кто с тобой?

Это спросили от края настила, не у меня. Я поднял голову.

Спрашивал широкий, седеющий человек в кожаном переднике, прожженном в двух местах, с руками, какие бывают у тех, кто целыми днями тянет на себя что-то тяжелое и ровное. Спрашивал он человека с лентой, а смотрел на меня. На ящик у моих ног, на левую руку в холсте, на лицо. Так на настиле смотрели все. Мальчишка с ящиком, которого привез белый клипер, был для них вещью непонятной. Непонятного здесь, судя по лицам, не любили.

— Мастер по консолям, — ответил человек с лентой, не останавливаясь. — Ваш возчик просил его посмотреть ваши.

Человек в переднике посмотрел на меня еще раз, дольше. На это он ничего не сказал. Человек с лентой уже шел по настилу к скале, двое серых шли за ним. Один из них оглянулся на меня. Пришлось взять ящик и идти следом, потому что идти было некуда, кроме как следом. Человек в переднике пошел рядом, не спрашивая, можно ли.

— Ермил. — Он говорил вполголоса, глядя в спину серым. — Ткач. Возчик наш это Фаддей. Он на шаланде просил, в Семи Причалах? Шаланда еще не пришла, он там.

— На свадьбе просил. Я сказал, что сначала со своей седьмой закончу. Закончил.

— А потом сюда, на белом.

Он не спросил это, а сказал, как говорят о том, что видят. Что на белом увозят, а назад не привозят, он, похоже, тоже слышал. Сам я думал так же вчера на рассвете, когда клипер отходил. Объяснять ему, почему привезли, я не мог, потому что сам знал только то, что мне сказали у борта. Поэтому я спросил про другое.

— Кто у вас старшина?

— Гурий у нас. Вон он, у самой скалы, над брусом. Его и показывать не надо, по нему видно.

По нему было видно. На краю настила, там, где брусья входили в скалу, стоял человек ростом с Ермила, с согнутой спиной, какая бывает у тех, кто всю жизнь ходит по уступам, пригибаясь. Он стоял над левым брусом, над живой консолью. Когда мы проходили мимо, он нагнулся и ударил по кожуху кулаком. Не ладонью, не костяшками, кулаком, со всего плеча, как бьют по двери, за которой не отвечают. Кожух отозвался глухо и низко. Старшина выпрямился, посмотрел на кулак. Костяшки у него были в ссадинах, старых, заживших, под ними свежие, еще в крови. Выходит, бил он так не первый день.

Человек с лентой остановился перед ним.

— Я брат Евстрат. Двое, которые у колодца. Я их заберу.

Старшина посмотрел на ленту, потом на серых, потом на меня с ящиком. Долго. Губы у него шевельнулись, но он ничего не сказал, кивнул на тропу и пошел впереди, не оглядываясь. Имя я запомнил. До этого дня у человека с лентой его не было, теперь было. Легче мне от этого не стало.

Тропа от причала шла вверх по скале, вырубленная ступенями. Ступени были стерты посередине до лотка. По ней ходили дольше, чем стоит столб. Наверху ветер ударил сразу, ровный и плотный, с запахом сырой травы, не похожий ни на что в Семи Причалах. Дома, которые я видел с высоты, стояли в два ряда, низкие, с толстыми стенами, с дощатыми коробами на крышах, из которых по желобам стекала вода в бочки. Сборщики. На «Пронзающем» такие ставили на тенте в походе. Здесь ими жили. Если воду брали только из облака, ее, видимо, не хватало. Значит, вода здесь на счету, а уезжать отсюда будут не из-за нее.

Колодец я увидел раньше, чем мы дошли до него. Над ним стоял ворот, большой, на двух столбах, с канатом в два пальца толщиной. Этот ворот был не для ленты. Он был для ведра.

Колодец оказался не колодцем. Каменная шахта, саженей в три в поперечнике, обложенная кладкой, которая шла от края широким кольцом, шагов в сорок поперек. Такой кладки на острове больше нигде не было. Камень в кладке лежал большими ровными плитами, пригнанными без раствора, темнее скалы. Я видел такой камень в своде под седьмой консолью и в стене с шестьюдесятью двумя кругами. Я подошел к краю и посмотрел вниз. Шахта уходила

в скалу отвесно и там, внизу, открывалась в облако. Светлое, медленное, саженях в семи под ногами. Ведро на канате ворота висело над ним.

Рядом с кладкой, в нише, вырубленной в камне, стояла каменная чаша. У чаши сидели двое.

Оба в серых плащах, какие я видел на площади у дома с темной дверью. Один постарше, худой, с лицом, обтянутым до костей. Второй совсем молодой, с ведром между колен. Старший увидел ленту и встал. Сам, без слова, без того, чтобы его подняли. Молодой встал следом и поставил ведро. Серые подошли к ним с двух сторон, не касаясь. Евстрат смотрел на их лица, как смотрел на лица у костра. Он ничего им не сказал. Они ничего не сказали ему.

В нише, там, где они сидели, стояла коробка.

Латунная, литая, размером с котелок, в котором на «Вехе» варили на четверых. Я видел ее три вдоха. С одной стороны на ней было горло, круглое, обработанное, с другой, кажется, выход. Больше я не разглядел, потому что серый взял ее двумя руками, завернул в холст и понес к тропе, а второй серый повел за ним двоих в плащах.

Старший из двоих, проходя мимо меня, замедлил шаг. Серый за его спиной тоже. Он не остановился. Он только наклонился ко мне, на ходу, так близко, что я почувствовал его дыхание. Зашептал быстро, горячо, будто боялся, что его перебьют.

— Мастер. Она говорит ночью. Стучит, слышно от ниши. Мы принесли ей уста. Ты поставь, мастер, ты умеешь, ты в порту мертвую разбудил, про это с причалов говорят.

Серый взял его за локоть и повел дальше. Молодой прошел следом, не оглянувшись, с пустыми руками. Ведро осталось у ниши.

Я стоял у чаши и разбирал сказанное.

Уста. Коробка с горлом. Стучит ночью, слышно от ниши. Человек с лентой велел мне сказать, что здесь деталь, а что то, чему молятся. Человек в сером плаще только что сказал мне о том же самом, другими словами, с другой стороны. Человек с лентой хотел знать. Человек в плаще считал, что уже знает. Я не знал ничего, кроме того, что видел три вдоха. Литье чистое. Горло обработано. Так не льют того, чему молятся. Так льют то, что должно к чему-то подходить. К чему, я мог узнать только одним способом, а коробку как раз уносили к шлюпке.

Евстрат вернулся с тропы один. Серые с двоими в плащах и с коробкой пошли к причалу, к шлюпке. Он посмотрел на меня, на ящик, на ворот, на шахту.

— Смотри. — Он кивнул на шахту. — Ходи, где хочешь. С острова не уйдешь.

Шутки в его голосе не было, только то, что есть. Он ушел к старшине, который стоял шагах в десяти и не подходил. Я остался один у колодца, с ящиком и с ведром, которое оставил молодой.

Я опустился на колено у кладки и положил ладонь на камень, как Тишко кладет ладонь на причал над кожухом.

Дрожи не было. Камень был холодный, ровный, глухой. Я передвинул ладонь на шаг, еще на шаг, обошел так четверть кольца. Ничего. Если под кладкой что-то стояло, оно не работало, или работало так глубоко, что рука не брала. Тогда я достал из ящика ключ Мирона, разводной, который был моим еще до того, как у меня появился ящик. Ударил рукояткой по кладке, ожог под рукояткой потянул. Не кулаком, как старшина, а ключом, коротко, как бьют по подозрительной отливке. Камень отозвался камнем. Я прошел с ключом вдоль кладки дальше и ударил снова. Снова камень. Третий удар, шагов через десять, дал другое. Не звон, нет. Глухо, но с ниткой, с тонким продолжением, которое держится на вдох дольше, чем положено камню. Я ударил рядом. Камень. Вернулся на шаг. Нитка.

Здесь в кладке что-то стояло. Отметив место глазами, по трещине в соседней плите, я пошел дальше. Шагов через двадцать нитка повторилась. Еще через двадцать тоже. Три под причалом. Если шаг ровный, по кольцу их уместится пять. Восемь, как говорили на свадьбе. Пять из них молчат.

Ермил стоял за спиной. Я не слышал, как он подошел.

— Вот так и старшина стучит. — Он показал подбородком на кладку. — Только кулаком. Говорит, камнем отзываются. А ты чем слышишь?

— Ключом. Он звонче кулака, а руки целее.

— И что он тебе говорит, ключ?

— Что под плитой есть что-то, кроме камня. Камень так звук не держит.

Он помолчал, посмотрел на место, где я стоял, на трещину в плите.

— Это Гурию скажи. Не мне. Я ткач, я по станку слышу, по камню нет. Мне велено тебя водить и показывать, что где. Вот и вожу.

Кем велено, он не сказал.

Вороты стояли по длинному боку острова, с того края, что смотрел от жгута, там, где скала обрывалась к кромке потока. Я пошел туда, потому что хотел посмотреть, за счет чего тут живут, а Ермил пошел рядом, как ему велели.

Их было одиннадцать, по одному на семью, сказал Ермил. Барабаны на двух стойках, с ручками, с собачкой на храповике, с канатом, который уходил через край вниз, в облако. Ветер здесь шел вдоль края, ровный, плотный, так что говорить приходилось громче. Внизу, под краем, в светлом жгуте, который отсюда казался совсем близким, висели ленты. Я видел их с высоты как парусину. Отсюда они были плетеными матами, в рост человека шириной. Трава росла на них вниз, в поток, белая, длинная, шевелилась вся вместе, как шевелится мех под струей воздуха.

У ближнего ворота работала женщина. В кожаном фартуке до колен, с рукавами, закатанными выше локтя. Руки у нее были в порезах, мелких, старых и новых, как у тех, кто рубит траву с острой кромкой. Она укорачивала канат. Вытягивала его воротом на оборот, стопорила собачкой, отмеряла от зарубки на стойке четыре раза собственной ладонью и завязывала узел, чтобы отсюда резать.

— На четыре ладони. — Она не обернулась, говорила Ермилу через плечо. — Все уже укоротили, я последняя, собачка не дает. Сказали на четыре, делаю на четыре. Хоть бы сказали, кто сказал.

— Старшина сказал. Как по столбу вышло, так и сказал.

— По столбу. Столб у нас теперь за старшину говорит.

Она обернулась и увидела меня. Посмотрела сверху вниз, с ящика на лицо, как все на этом острове смотрели сегодня, только без удивления. Для нее я был мальчишка с чужого судна, который зачем-то стоит у ее ворота.

— Отойди от ворота, зашибет. Собачка у меня дурная, канат срывает.

Слышал я это с пяти шагов. Собачка падала не со щелчком, а со скребом. Нос у нее скатался, садилась она не в корень зуба, а на самую кромку. Когда она стопорила ворот, барабан не вставал сразу, а проползал на полпальца, с тонким скребущим звуком. Только потом вставал. На заводе такую собачку сняли бы в тот же день.

— Собачка у вас не дурная. — Ближе к вороту я не подошел. — Нос у нее скатан. Садится на кромку зуба, а не в корень. Слышно отсюда, когда стопорите. Если канат под нагрузкой, однажды проскочит весь зуб, а потом все.

Она посмотрела на собачку. Потом на меня, иначе, не сверху вниз, а прямо, как смотрят на человека, который сказал по делу.

— Знаю, что сточена. Ее менять надо, а заменить нечем, у нас ни кузни, ни железа лишнего. Брат из Семи Причалов обещал привезти, да шаланды все нет.

Она объясняла мне устройство ворота как мастеру, который поймет без подробностей. Потом взглянула на мое лицо, осеклась и коротко, громко рассмеялась. Одной рукой она все еще держалась за ручку, второй вытирала травяную пыль с фартука.

— Вот я, объясняю мальчишке про храповик, будто он мастер. Ты кто?

— Кир. С братского причала в Семи Причалах. Ваш возчик с шаланды просил посмотреть консоли.

— Мирта. — Она вытерла руку о фартук. — Возчик это брат мой, Фаддей. Он всех просит. Посмотри, раз просил. Только от ворота отойди все равно. Сточена она или дурная, а срывает одинаково.

Я отошел. Она снова взялась за ручку. Я слышал, как собачка проползла полпальца и встала.

Столб стоял у колодца, с той стороны, где ниша. Я видел его, когда шел к воротам, но не разглядел, потому что смотрел на кладку. Теперь разглядел.

Дерево, в обхват, вкопанное в скалу, серое от лет, с одной стороны гладкое от рук. По гладкой стороне сверху вниз шли зарубки. Я начал считать сверху. Верхние были короткие, в полпальца, одна под другой, ровно, на палец друг от друга, кое-где на два. Зарубка в год, каждая на столько ниже прежней, на сколько за год поднялась струя. Их было много, все одинаковые, как отметки на мерном стержне. Двадцать. Двадцать пять. Потом одна отстояла от соседней чуть дальше. Потом снова на палец. Тридцать. Тридцать пять. Прошлогодняя легла ниже прежней уже на ладонь, но резали ее так же, как резали все. Ровно, одним ножом, острым.

Последняя была резана иначе.

На четыре ладони ниже прошлогодней, глубже, грубее, не одним движением, а несколькими, как режут, когда рука не слушается или когда резать не хочется. Я приложил к промежутку правую ладонь, с розовым кругом ожога, левая в холсте для мерки не годилась. Четыре раза. Моя ладонь была уже ладони старшины, выходило чуть больше четырех.

— Отец Гурия резал. — Ермил стоял за спиной, я опять не слышал, как он подошел. — Тридцать лет. Каждую осень, после Заката, когда струя ляжет. Потом Гурий. Этой осенью не дождались. В полдень резали, недели за три до Заката, перед тем как шаланда ушла. Не вытерпели.

— Кто не вытерпел? Старшина?

— Все. Маты понизу рвать начало. Ядро подошло, а мы не знали, на сколько. Гурий взял нож и пошел к столбу. Зарубил, потом ушел к причалу и там кулаком.

Я смотрел на зарубку. Четыре ладони за сезон, до срока. Так стрелка, которая годами ползла на волос, за одну смену уходит на деление. После такого ждут уже не деления.

Евстрата у колодца уже не было, он ушел со старшиной к домам. Вернувшись к краю над причалом, посмотреть на кольца и на кораблик в затишье, я увидел человека на настиле.

Я узнал его раньше, чем увидел лицо, по тому, как он шел. Не торопясь, ровно, как по своему цеху. Среднего роста, сухой, в темном, с руками в перчатках. Он сошел на настил с ялика, который подвел к кольцам один из тех двоих с кораблика. Прошел по доскам к корню левого бруса, к живой консоли, туда, где утром стоял старшина.

Там он снял перчатки. Двумя пальцами, за кончики, одну, потом другую, как снимал их на причале братств над заглохшей консолью. Положил ладонь на кожух. Подержал.

— Износ.

Потом поднял глаза. На тропу, на край, на меня с ключом в руке над ним. Лицо без возраста не изменилось. Только голос стал чуть ниже, как у человека, который нашел деталь не там, где оставил.

— Утопленник. Гильдия полагала, что ты в небе.

Глава 3

— Я был в небе. Сутки. Теперь здесь.

Он не ответил. Надел перчатки, одну, потом другую, так же, как снимал. Пошел вверх по тропе, мимо столба, мимо меня, к домам. У второго дома от края его ждали. Высокий, худой человек в темном стоял у стены с мотком шнура в руке, а рядом с ним, сидя на ящике, бритый, здоровый, со шрамом через бровь, держал на коленях тесак и смотрел не на человека в перчатках, а на меня. Он смотрел так весь остаток дня, пока я ходил по острову. Он оставался возле ящиков, поворачивал голову, когда я проходил, и рассматривал меня открыто, без попытки скрыться. Я каждый раз встречал его взгляд и проходил дальше, гадая, что именно его занимает. У второго дома под парусиной стояли ящики, длинные, кованые по углам, штук шесть, с них свисали концы тросов. Бритый сидел на одном из них. Выходит, его наняли стеречь ящики, а не остров. Что в ящиках, я не видел, но тросы в таких количествах возят не для того, чтобы что-то чинить. Тросами тянут и снимают.

Остаток дня я ходил вдоль кладки.

Кольцо вокруг шахты было шагов в сорок поперек, сплошное, от самого края. С той стороны, где скала обрывалась к причалу, кладка уходила под камень и там кончалась. Я прошел все, что было на виду, с ключом Мирона в правой руке, с левой ладонью на плитах, прямо через холст. Нашел пять мест с ниткой. Пять, через равные промежутки, как отверстия под болты на фланце. Три под причалом и пять в кольце. Восемь. Фаддей не ошибся. У каждого из пяти я задержался дольше, чем надо было для счета. Прикладывал ладонь, стучал, слушал, стучал снова. Нитка везде была одинаковая, короткая, едва слышная. Не как у мертвой седьмой, которая до круга отвечала чистым камнем, без ничего. Здесь внутри что-то было. Оно не работало, но оно не было пустым. Я вернулся к ящику, достал из-под тряпки лист Игната, карандаш Урга и нарисовал кольцо, шахту в нем, пять точек по кольцу и три точки сбоку, под причалом, там, где кладка ныряла под скалу. Восемь точек, и все тянутся к одной дыре. Если бы мне показали такой чертеж на заводе, я бы сказал, что это коллектор. Восемь отводов от одного подвода.

Между плитами в кладке шли швы. Я думал сначала, что это просто стыки, пока у второго мертвого места не присел ниже и не увидел, что шов там не пустой. Он был залит. Не раствором, раствора в этой кладке не было нигде, а чем-то черным, гладким, с таким блеском, какой бывает у стекла, если его расплавить и дать застыть, не выравнивая. Щуп стукнул о твердое и, сколько я ни давил, не вошел ни на волос. Тогда я взял толстый щуп, тот, что на два волоса, поставил его на ребро, как стамеску. Начал скоблить.

Скоблилось плохо. Корка крошилась мелкой черной пылью, которая оставалась на щупе и на пальцах и не стиралась о холст. Я поднес пальцы к лицу. Пыль блестела, как битое стекло. Блеск я знал. Так блестела синяя пыль в брюхе твари, когда она лежала у меня на коленях, вскрытая, с пружинами наружу. Только та была синяя и сыпучая, а эта черная и спеклась в корку, как спекается шлак в поддоне печи, когда его не выгребают. Черный сухой нагар я тоже видел, в пазах пустой посадки под седьмой, когда из нее вынули то, что там стояло. Там он лежал тонко, здесь его было столько, что он залил шов доверху.

Я сел на пятки и посмотрел на шов. Потом на следующий, у третьего мертвого места. Там тоже было залито. У живой консоли под причалом я не смотрел. Теперь мне захотелось посмотреть, залит ли шов там. Я встал, прошел до края, глянул вниз, на брусья. До швов у кожухов консолей с тропы было не дотянуться.

Шов, залитый шлаком, у мертвой консоли и, может быть, не залитый у живой. Форсунка, забитая нагаром, выглядела бы так же. Не сломанная. Забитая.

На этой мысли меня окликнули.

Высокий с мотком шнура стоял у ворота для ведра и смотрел на меня через шахту. Он не кричал. Он сказал ровно столько, чтобы я расслышал через ветер.

— Отойди от кладки. Я мерю.

Я отошел. Он спустил шнур в шахту. Шнур был с узлами через равные промежутки и со свинцовым грузилом на конце. Он считал узлы, пропуская их между пальцев, вслух, негромко. Семь. Шнур натянулся, потом ослаб. Он вытянул его обратно, пощупал конец, посмотрел на то, где кончилось мокрое.

— Семь саженей до мокрого.

Это он сказал никому. Не мне, не себе. Просто в воздух, как говорят число, чтобы его запомнить. Потом взял шнур и приложил его к кладке, от ворота до ближней плиты, от плиты до следующей. На шнуре он завязал новый узел, маленький, ногтем, не глядя. Бумаги у него с собой не было.

Я стоял и смотрел, как он мерит. За два дня мне не раз бывало не по себе, но так, как сейчас, впервые. Не от человека с лентой, который вез меня сюда как деталь. Не от того, в перчатках, который сказал «износ» так, будто это слово закрывало вопрос. А от этого, со шнуром. Он мерил кладку, как мерят станок перед тем, как снять его с фундамента и увезти. Не чтобы починить. Чтобы знать, какой кран подогнать. Я смотрел на его руки, на узлы, на то, как он прикладывает шнур к плитам, в которых я час назад нашел нитку. Он мерил то же самое, что слушал я, только с другой целью. На заводе такие люди сидели в отдельной конторе. В цех они приходили, когда его закрывали.

Он закончил, смотал шнур и ушел ко второму дому, где сидел бритый. Со мной он больше не говорил.

К вечеру за мной пришел Ермил.

— В общем доме собирают. Гильдия говорить будет. Гурий велел, чтобы и ты был. Ящик бери с собой, у нас чужое держат возле хозяина. Все должны видеть, при ком вещь лежит, тогда и вопросов поутру меньше.

Общий дом стоял в середине ряда, длиннее остальных вдвое, с двумя дверями. Внутри по обе стороны от входа стояли два ткацких станка, большие, деревянные, с челноками в пазах. За ними очаг, в котором горели не дрова, а что-то мелкое, серое, похожее на стружку. Кострика, сказал Ермил, когда я спросил. То, что остается, когда траву треплют. Пахло от нее не дымом, а печеным хлебом. На станках лежала начатая ткань, серая, плотная, с таким же запахом. Все в этом доме было из одной травы, от огня до крыши. Вдоль дома, на бочках, лежала длинная доска, за которую можно было посадить человек двадцать. Посадили больше. Сидели на бочках, на станках, стояли у стен.

Я насчитал девять мужчин, женщин больше, стариков и старух еще человек семь, а детей не считал. У очага, ближе всех к теплу, сидела старуха, совсем маленькая, с горстью кострики в руке, которую она время от времени бросала в огонь, не глядя. Рядом с Миртой, на бочке, сидела девочка лет шести и смотрела на меня. Я сел у стены, там, куда показал Ермил, с ящиком между ног. Ладонь положил на край доски.

Евстрат сидел у двери. Не за доской, не на бочке, а на пороге, на корточках, спиной к косяку, так, чтобы видеть всех и чтобы его не было видно тем, кто смотрит на доску. Лента на нем белела в полутьме. Двое серых стояли по сторонам двери снаружи. Я видел их локти.

У другой стены стояли те, кого привел человек в перчатках. Высокий со шнуром. Бритый с тесаком, который теперь был не в руке, а на поясе. Это я отметил. Еще четверо, двоих из них я утром видел с клипера у лебедки. Крепкие, в одинаковых куртках, с руками, какие бывают у тех, кто работает тросом. Они не садились. Им не предлагали.

Человек в перчатках сел за доску напротив старшины. Перчаток он не снял.

— Гильдия пришла с предложением, которое вам пора обдумать. — Голос у него был тот же, что на четвертом причале над мертвой консолью, ровный, гладкий, без единой зацепки, за

которую можно было бы схватиться. — Поэтому Гильдия скажет коротко. Остров садится. Вы это знаете по зарубкам на столбе, а мастера, которых прислали сюда, проверили кожух. Четыре ладони за сезон значат, что к снегу ленты уйдут в ядро, а к весне скала ляжет на край Низины, как лег тот, что ниже по струе двадцать пять лет назад. Мастера видели острова через год после того, как их перестали держать. На некоторых к тому времени уже лежали дома. Спросите тех, кто успел с них уйти: они скажут, чего стоит ожидание.

Он положил на доску руку в перчатке.

— Гильдия предлагает следующее. Кораблик, который стоит в затишье, берет пятнадцать человек с поклажей. Два захода до Заклепного Уступа, где есть храм, причал и работа. Первый заход уходит через десять дней, второй через двадцать. Семьи с детьми в первом. Гильдия не берет с вас ничего. Остров и Якорь его, когда вы их оставите, останутся тому, кто придет первым, и Гильдия придет первой, потому что Гильдия уже здесь. Это честно, и Гильдия говорит это вслух, чтобы потом никто не говорил, что его обманули.

Он кончил. В доме было тихо, только кострика трещала в очаге. Я сложил в уме. Пятнадцать на два захода, тридцать. Взрослых я насчитал под тридцать, детей не считал. Кто-то в этот счет не влезал, и человек в перчатках знал это не хуже меня.

Старшина сидел напротив него и смотрел на свои кулаки, лежавшие на доске. Я видел, как он набрал воздуха, как губы у него сложились для слова. Слово не вышло. Вместо слова он ударил по доске кулаком. Не для того, чтобы напугать. Он ударил, как бил по кожуху консоли. Как бьют по тому, что не отвечает.

Доска под моей ладонью загудела. Долго, низко, по всей длине, через бочки. Я держал ладонь и чувствовал, как гул уходит в дерево и затихает. Старшина не сказал ничего. Человек в перчатках подождал, посмотрел на старшину, на кулак, на доску. Он ждал ответа, а кулак ответом не считал.

— Гильдия подождет, пока старшина соберется с мыслями. Гильдия не торопит.

Старуха у очага бросила горсть кострики в огонь и сказала, не поднимая головы.

— При старом старшине так не мерили. Старый три утра ждал. Этот в полдень побежал резать, и вот теперь сидит и кулаком. Кулаком столб не вырежешь.

Старшина не повернулся к ней. Губы у него снова сложились, на этот раз слово вышло. Он сказал его доске, не человеку в перчатках.

— Четыре ладони. Прошлый год ладонь. До того палец.

Больше он не прибавил ничего. Человек в перчатках принял это как подтверждение своего, кивнул и стал ждать дальше.

Мирта встала.

Она сидела на бочке рядом с девочкой, а теперь стояла, в том же фартуке с ворота, с травяной пылью. Говорила она не громко, но так, что слышно было у обеих дверей.

— Старшина молчит, потому что все, что мог, он сказал ножом в полдень у столба. Так я скажу за него, а он меня поправит, если я совру. Отец его тридцать лет резал этот столб, и каждый год ждал Заката, потому что до Заката струя не лежит, и мерить ее нечего. Мы этот год не дождались, резали в полдень, по сухой траве, по страху. Мы ошиблись, и Гильдия на этой ошибке стоит, как на кожухе. Но артель с острова уходит не по чужому слову. Артель уходит по шнуру. Так было при старом старшине, так будет при этом.

Она посмотрела на человека в перчатках и подождала, не скажет ли он. Он не сказал.

— После Заката струя лежит три утра. Три тихих утра, когда шнур с ворота идет до мокрого ровно, а не как придется. Мы мерим все три. Если шнур уйдет вверх против последней зарубки на столбе, остров сел, и мы уходим, все, с детьми, на вашем кораблике. В два захода мы не поместимся. Взрослых у нас тридцать, еще дети и поклажа. Обещайте третий заход, чтобы последняя семья ушла целиком, тогда остров ваш. Если шнур не уйдет, остров стоит, и уходите вы. С ящиками, с тросами, со всем, что привезли. Это не торг. Это мера.

Человек в перчатках сложил руки на доске.

— Гильдия слышала про три утра. Это обычай, а Гильдия не ходит по обычаям, Гильдия ходит по кожуху. Кожух говорит «износ». Три утра ничего к этому не прибавят.

— Тогда вам нечего терять, подождав три утра. — Мирта не села. — А пока вы ждете, у нас подъем лент. Одиннадцать воротов, по одному на семью, а в семьях мужиков меньше, чем воротов, потому что струя их берет. Ждать на острове с пустыми руками не принято. Ваши люди потянут ленты вместе с нашими. Вон их шестеро у стены, и руки у них, я вижу, не из парусины.

Четверо у стены переглянулись. Бритый засмеялся, коротко, одним выдохом. Тут же замолчал, потому что человек в перчатках повернул к нему голову.

И тогда человек в перчатках посмотрел на дверь.

Я смотрел туда же. Евстрат сидел на пороге, как сидел, спиной к косяку. Он не сделал ничего. Не кивнул, не поднял руку. Он сидел и смотрел на человека в перчатках, как смотрел на лица у костра. Лента на нем белела. Больше ничего в доме не изменилось. Но человек в перчатках, посмотрев на дверь, сказал не то, что собирался сказать.

— Гильдия подождет три утра. Первый заход тогда после последней мерки, второй через десять дней после первого. За оставшимися Гильдия придет еще раз, третьим заходом. Все семьи, с детьми. Лента слышала. Это ничего не стоит Гильдии. Люди Гильдии помогут с лентами, потому что Гильдия не отказывает в помощи тем, кому скоро уезжать. — Он встал. — Остров сядет, и шнур это покажет. Гильдия это знает по кожуху.

Он вышел в другую дверь, не в ту, где сидел Евстрат. Четверо у стены вышли за ним. Высокий со шнуром задержался, посмотрел на Мирту, как смеряют. Вышел последним. Бритый остался. Он сел на край станка, положил тесак поперек колен и посмотрел на меня через весь дом.

— Это не пропись, парень. — Он говорил громко, так, что обернулись все. — То, что ты утром на белом у борта делал, когда он с высоты к нам сходил. С кораблика видно было. Это пляска. Кто тебя учил так плечи крутить?

На рассвете, на палубе клипера, пока он сходил со струи к скале, я сделал у кнехта то, что делал по утрам с того дня, как пришел в себя в этом теле. Повернул плечи, по кругу, назад и вперед, размял кисти, присел, сколько присядется, потянул спину. На заводе так разминались перед сменой те, кому за сорок, чтобы не сорвать поясницу на первом же подъеме. Тело, в которое я попал, было молодое, его разминать было ни к чему. Но голова помнила, что делать надо, вот я и делал. Выходит, он это видел.

— Никто не учил. Так разминаются перед работой, чтобы не надорваться.

— Перед работой надорваться у тебя еще лет двадцать не выйдет. А вот что плечи у тебя ходят, как у мужика, которому за сорок, это я заметил. Интересно мне стало. Ты откуда такой?

Тесак лежал у него поперек колен, пальцы на рукояти не двигались.

— С братского причала.

— Это я слышал. Не оттуда ты.

Я передвинул ящик между колен, чтобы руки были заняты. Отвечать было нечем. Врать человеку, который смотрит на плечи, а не на лицо, все равно что подгонять деталь на глаз, когда у мастера в руке калибр.

Он не стал продолжать. Засмеялся опять, коротко, ушел в ту же дверь, что и остальные. Тесак он нес в руке.

Артель расходилась долго. Старшина сидел за доской, пока не ушли все. Я видел, как Мирта, проходя мимо, положила ему руку на плечо, не глядя, коротко, как кладут руку своему. Он не поднял головы. Девочка ушла с ней, оглядываясь на меня до самой двери.

Ермил показал мне место у стены, за станком, где лежала парусина, еще не крашеная, свернутая в несколько раз.

— Спи тут. По домам места нет, а в общем всегда кто-то ночует. Я сам тут сплю, при станках. Утром Гурий тебя позовет. Он тебя весь вечер не спрашивал, потому что при тех не хотел. Спросит один.

— Пусть спрашивает. Только я сам пока не знаю, что ему ответить.

— Про ключ спросит. Что ты услышал ключом. Он видел, как ты по кладке ходил. Он сам так ходит, только ему камнем отвечает, а тебе, видишь, не камнем.

Евстрата у двери уже не было. Когда он ушел, я не заметил.

Я лег на парусину, положил под голову обвязку. Кольцо снова уперлось в затылок, я снова его передвинул. Ящик поставил у стены, между собой и стеной. Кострика в очаге дотлевала, пахло хлебом, от станков тянуло сырым деревом. Лежал и складывал день в столбик.

Три утра после Заката. До Заката, по счету артели, который Ермил сказал мне по дороге к дому, оставалось одиннадцать дней. Потом три утра. Потом шнур. Шнур уйдет или не уйдет, а я к тому времени буду либо на клипере, либо здесь. От меня в этом столбике ничего не зависело, потому что я мог только сказать, что в коробке деталь, а остров от этого не встанет. Чтобы он встал, надо было знать, отчего он садится. Пять форсунок, забитых нагаром. Три, которые еще работают. Шлак в швах. Подача, которой не хватает. Повернул это так и этак и уснул, не додумав, потому что тело в этот раз было сильнее головы.

Проснулся я в темноте.

Очаг погас совсем. Снаружи шумел ветер, ровно, как шумел весь день. Но разбудил меня не ветер. Лежал и слушал, пока не понял, что именно слушаю.

Стук.

Глухой, далекий, снизу, через камень, через стену, через парусину подо мной. Один удар. Долгая тишина, я успевал сделать четыре вдоха. Второй удар. Такой же. Тишина. Третий. Промежутки были равные, как у часов, только медленнее.

Так стучит насос, когда во всасывающей трубе кончается вода и он начинает хватать воздух. Поршень проскакивает пустоту без нагрузки и с маху бьет в остаток воды, как молотком по днищу, а клапан хлопает о седло вхолостую. Потом снова. На заводе от этого звука бежали к насосу, потому что через полчаса такого хода насос умирал.

Человек в сером плаще сказал, что она говорит ночью. Стучит, слышно от ниши.

Я лежал и считал удары. На двадцатом сел.

Глава 4

Старшина пришел до света, как и говорил Ермил.

Стук под утро стих, когда, я не заметил. Уснул сидя, у стены. Старшина не вошел в общий дом, а встал в дверях. На сером фоне я увидел его раньше, чем проснулся до конца. Ящик был на месте, между мной и стеной. Я сел, нашел ногами сапоги, взял ящик. Он ждал, пока я обуюсь, за это время не сказал ни слова. Потом повернулся и пошел к колодцу. Я пошел за ним, потому что звать меня он, видимо, не умел, а умел только идти впереди.

У кладки он остановился над тем местом, которое я вчера отметил по трещине. Он знал его сам. Выходит, кулаком он слышал то же, что я ключом, только не верил кулаку.

— Что ключом слышал?

— Не камень. Пять мест по кольцу, через равные промежутки, в каждом глухо, но с ниткой. Под причалом три, из них одна тянет. Восемь. Швы вокруг мертвых залиты черным, спекшимся, как шлак. У живых не смотрел, не дотянуться.

Он выслушал это, глядя не на меня, а на плиту. Потом присел, тяжело, с согнутой спиной, положил на плиту кулак. Не ударил. Просто положил, костяшками вниз, как кладут руку на лоб больному.

— Три года назад сели. — Он говорил плите. — Три года я по ним бил. Камнем отвечали, все пять.

— Они и отвечают камнем. Только не совсем. Чтобы услышать, чем не совсем, надо бить не кулаком.

Он встал. Посмотрел на свой кулак, на ссадины, на ключ Мирона у меня в руке. Ничего не сказал на это, а спросил другое.

— Встанет?

Наугад на такой вопрос я здесь еще никому не отвечал. На заводе мастер, который на «встанет?» говорил «встанет», не посмотрев внутрь, долго мастером не оставался. Я сказал ему то, что сказал бы начальнику цеха.

— Не знаю. Чтобы знать, надо увидеть, что под кладкой. Пока я слышал только, что там что-то есть и оно не пустое. Если оно забито, его можно прочистить. Если сломано, нечем.

Он кивнул один раз, как кивают на меру. Пошел прочь, к воротам. С ним у меня вышел весь разговор, какой был возможен. Длиннее он со мной в те дни не говорил.

Солнце встало, когда от затишья вышла шлюпка.

Я успел к тому времени обойти кольцо кладки второй раз, теперь с коробкой в голове, а не с ключом. Трубы под ее горло я искал глазами в каждом шве и не нашел. Кладка была глухая. Если труба и была, она лежала под плитами. Туда, кроме как через шахту, хода не было. Я смотрел в шахту, на облако внизу. По канату ведра туда спускалось только ведро.

Шлюпку я видел с кладки, видел, как она села у причала, как на настил вышел Евстрат, один, без серых, с чем-то под мышкой в холсте. Он поднялся по тропе, не глядя под ноги, прошел мимо ворота для ведра и остановился передо мной. Положил холст на кладку. Развернул.

Коробка.

Я присел и не стал трогать руками. Сначала глазами, как учили.

Литая латунь, желтая, без зелени, вся в мелких следах от напильника, которым ее чистили снаружи. Чистили хорошо. Размером с котелок, как я и помнил. Горло с одной стороны, круглое, с чистой кромкой, в кромке три паза, как под штыковой замок у пожарного рукава. Выход с другой стороны, уже горла раза в полтора, тоже с кромкой. Крышки сверху не было, но по следам на торце было видно, что она была. Внутри, между горлом и выходом, посередине, шло седло. Кольцо, отлитое вместе с корпусом, с гладкой, притертой посадочной поверхностью. На нем должна была лежать тарелка. Тарелки не было. Я взял тонкий щуп и

провел по седлу. Ровно. Провел еще раз, медленнее. Там, где седло переходило в стенку, щуп зацепил.

Паз. Тонкий, в волос, по всему кольцу седла. Не трещина, края ровные. Его сделали нарочно.

Я поднял голову. Евстрат стоял и смотрел на мои руки.

— Люди в плащах звали это «уста». — Он не отводил глаз от щупа. — Они говорят, что оно просило уста и они их принесли. Я их слышал. Теперь слушаю тебя. Если это деталь, поставь. Если это то, чему молятся, я заберу ее на огонь, когда вернусь. Ты скажешь, что это.

— Куда поставить? Трубы под это горло я на острове пока не видел.

— Туда, где ей место. Ты найдешь или не найдешь, это и будет ответ.

Ветер с края потянул холст. Я прижал его правой ладонью. Круг ожога отозвался на латунь холодом.

— Когда вы вернетесь?

— Клипер идет в Семь Причалов и дальше. Я вернусь к первому утру после Заката. Коробка остается у тебя. Ящик тоже. Гильдия останется здесь, и ты с ней тоже останешься. Тебя не тронут, потому что я вернусь.

Он завернул холст обратно, как был, отдал мне в руки. Коробка была тяжелая, тяжелее котелка, от нее шел холод, какой идет от всякой латуни на ветру. Евстрат посмотрел на меня еще раз, на лицо, не на руки. Пошел вниз по тропе.

Я стоял с коробкой и смотрел, как шлюпка отходит от причала.

На клипере ее подняли на блоках так же ровно, как спускали. Серые на палубе выбрали концы с колец. Судно отошло от скалы на малом, развернулось в затишье и пошло вверх, к краю струи, туда, где облака тянулись нитками. Дрожь его палубы я не чувствовал, но знал, какая она. Я стоял и смотрел, пока клипер не поднялся в белое и не стал одним из облаков. Потом он исчез. В затишье остался только черный кораблик. Теперь я был на острове с коробкой, ящиком и людьми в перчатках.

Бритый нашел меня у причала через час.

Туда я спустился посмотреть швы у живых консолей. Лежал на настиле, свесив голову между брусьями, когда доски качнулись под чужим весом. Он сел на кнехт, мешок бросил у ног, положил тесак поперек колен и подождал, пока я вылезу. Швы у живой консоли были не залиты. Я успел это увидеть. Черного стекла там не было, только камень и кожух. Ящик с коробкой я поставил у кнехта, чтобы видеть.

— Ты на белом плечами крутил. — Он хлопнул ладонью по кнехту рядом с собой. — Я тебе сказал, что это пляска. Хочешь посмотреть, что не пляска?

— Зачем это тебе?

— Затем, что ты стоишь на ногах не так, как твои ровесники, и мне интересно, что из этого выйдет, если тебе дать железо. А еще затем, что мне скучно. Я нанялся стеречь ящики, а ящики, парень, стеречь не от кого. Тут на острове ни одного вора, а те, кто со мной приехал, сами знают, что в ящиках.

Он встал с кнехта и вытащил из мешка второй тесак, короче своего, с тупой кромкой, какой дают учиться. Протянул рукоятью вперед. Рукоять была обмотана сыромятным ремнем, потемневшим от чужих ладоней. По тому, как ремень вытерся, я понял, что учились на нем не один год и не один человек.

Я взял. Ожог на правой ладони, зажившая розовая кожа, натянулся на рукояти и заныл. Я перехватил, чтобы круг от кольца лег на вытертое место ремня. Он смотрел на это.

— Как ключ держишь. — Он взял меня за кисть и повернул ее к свету. — Кулаком, за середину, чтоб не вырвало. Ключ не режет. Ключом тянут, а это должно идти от плеча, как плеть. Вот так.

Он показал. Одно движение, медленно. Доски настила под ним не скрипнули, хотя весил он вдвое против меня. Ступни он ставил, как ставят на лед. Тесак у него пошел из опущенной руки вверх и наискось, не кистью, а всем плечом. Остановился там, где кромка смотрела в горло того, кто стоял бы напротив. Потом он опустил его и показал еще раз.

— Это первое. Их двенадцать, и делают их каждое утро, пока тело не перестанет думать. Так учат на Фронтире, у Свечиных. Я у них не учился, я от их людей перенял, когда стоял с ними в одном строю. Повтори.

Свечины прозвучало как имя дома где-то на краю. Переспрашивать я не стал.

Я повторил. Вышло плохо. Тесак оказался тяжелее, чем выглядел, тяжелее ключа Мирона. Вес у него сидел не в рукояти, а ближе к концу, так что рука, привыкшая к ключу, искала середину и не находила. Рука шла от локтя, а не от плеча, потому что от плеча тянуть я не привык. От плеча бьют кувалдой, а кувалду я последние годы брал редко, все больше ключ. Он захохотал так, что на кораблике в затишье обернулись.

— От локтя! На Фронтире за такое повесили бы, а потом купили бы. Все от локтя делаете, кто с инструментом вырос. Еще раз.

Я сделал еще раз. И еще. Он поправлял не словами, а двумя пальцами, брал за запястье и переносил движение выше. На десятый раз рука пошла от плеча. Ее повело дальше, чем я хотел, потому что тело оказалось легче и быстрее, чем голова успела рассчитать. Тесак ушел в сторону. Я остановил его сам.

— Вот. — Бритый показал на мою руку. — Видишь? Тело тебя обгоняет. У взрослого так не бывает, взрослый знает, где у него кончается рука. А ты не знаешь. Как будто тебе ее вчера выдали.

Он был ближе к правде, чем думал. Отвечать я не стал, повторил движение еще раз, медленнее, подбирая, где кончается рука. Он смотрел на это и больше не смеялся.

С настила было слышно, как в затишье у кораблика двое гремят цепью лебедки, проверяя ее вхолостую. Бритый на это даже не повернул головы.

Учиться я согласился ради того, чтобы наконец освоиться в собственных движениях. Хват это умел и был готов показывать. Тело, в котором я очнулся юнгой на «Пронзающем», стояло на ногах иначе, чем прежнее, двигалось быстрее, уставало позже. О нем я знал меньше, чем о чужом ремесле. На заводе к новому делу ставили рядом с тем, кто его знает. Первую неделю ты только повторял. Здесь мне предлагали то же самое, только с железом в руке. Я взял.

— Хват. — Он забрал тесак и сунул в мешок. — Меня так зовут. Завтра до света у причала, если не передумаешь. Передумаешь, тоже приходи, я скучаю.

Днем я считал дни.

С утра у воротов было людно. К подъему лент готовились. Канаты пропускали через руки, как я пропускал бы свой, барабаны крутили вхолостую на оборот-другой, слушали собачки. Начинали с верхнего по струе конца. Четверо с кораблика стояли там же, у барабанов, с островными, крутили. Я видел это с кладки. Крутили они молча, хорошо, как люди, привыкшие к лебедке. Мирта стояла у своего ворота последней в очереди, со сточенной собачкой, ждала своего часа.

Зарубок на столбе для этого не было, но у ворота для ведра, на стойке, кто-то резал ножом черточки, одна в день, тонкие. Ермил сказал, что это Мирта, она так считает до Заката с той осени, как осталась без мужа. Черточки она нарезала загодя, от Заката до Заката, а каждое утро стесывала одну. Нестесанных оставалось десять. Десять дней до Заката, потом три утра. Евстрат вернется к первому. Значит, у меня одиннадцать дней на то, чтобы найти, куда ставится коробка. Или понять, что она никуда не ставится.

Коробку я поставил на кладку, рядом с собой, разбирал весь день, не разбирая. Горло и выход. Седло с пазом. Крышка, которой нет. Тарелка, которой нет. Корпусов, устроенных примерно так, я видел сто. Все они назывались одним словом. Клапан. Горло, седло, тарелка на

седле, пружина, которая прижимает тарелку, крышка, под которой пружина. Среда идет через горло, поднимает тарелку с седла, проходит в выход. Если среда пойдет обратно, тарелка сядет на седло, обратно не пройдет. Паз на седле мог быть под уплотнение. Мог быть под что-то, чего я не знал.

Клапан без тарелки, без пружины, без крышки. Корпус. Тарелку к такому седлу надо притирать, пружину подбирать по напору, крышку ставить на резьбу, которой на торце не было, или на замок, которого я не знал. Любая из трех вещей требовала мастерской, а здесь была доска на бочках. Люди в плащах несли на остров корпус клапана и называли его устами. Сказать Евстрату, что это деталь, я мог бы прямо сейчас. Он бы спросил, куда она ставится, а на это у меня не было ответа. Корпус клапана подходит туда, где есть труба под его горло. Трубы на острове я не видел. Я видел кладку, швы со шлаком и шахту с облаком на дне. Ключом я за день простучал кольцо еще раз, плиту за плитой, на всякий случай. Больше пяти мест не нашлось. Кольцо было ровное, шаг в шаг. Пустых мест в нем не было.

Вечером к колодцу пришел человек в перчатках.

Он не снял их. Встал у ворота для ведра, посмотрел в шахту, на столб с зарубками, на коробку рядом со мной. На коробке его взгляд задержался не дольше, чем на столбе.

— Лента ушла с острова, и Гильдия видела, как она уходила. — Он смотрел в шахту. — Остров пока ничей, Гильдия это тоже понимает. Гильдия подождет, как обещала при ленте, до третьего утра, а это тринадцать дней.

Он помолчал.

— Гильдия не спрашивает, что ты здесь делаешь, Утопленник. Гильдия знает, что ты чинил консоль в Семи Причалах, и знает, чем это кончилось для тех, кто на нее смотрел. Здесь консолей восемь, и Гильдия полагает, что ты их не починишь. Гильдия не угрожает, Гильдия считает, и счет у нее выходит такой. Гильдия предлагает тебе одно. Когда артель уйдет, Гильдии будет нужен человек, который умеет слушать кожух. Подумай об этом. У тебя тринадцать дней.

Он ушел, не дожидаясь ответа, тем же ровным шагом, как по своему цеху. У второго дома, под парусиной, его ждал высокий со шнуром. Они ушли вместе к затишью, не оглянувшись на колодец. Хват остался сидеть на гильдейском ящике у второго дома. Он смотрел им вслед, потом на меня, потом сплюнул в сторону и стал точить тесак, хотя тесак был наточен. Я не ответил, потому что отвечать было нечего. Человек в перчатках предложил мне место. Тринадцать дней, место, кожух. Гурий говорил о четырех ладонях и людях, которым придется уйти. Этот уже распределял работу на покинутом острове и выбирал для нее меня. Я стоял с коробкой, пока он уходил, и чувствовал, как под пальцами остыла латунь. На заводе такие предложения делали перед тем, как закрыть цех, тем, кого хотели забрать с собой. Я помнил, как на них смотрели остальные.

Солнце ушло за край острова, но в шахте еще было светло. Вороты замолчали один за другим, от дальнего к ближнему, последним замолчал тот, у которого собачка садилась со скребом. Мирта проверяла свой канат сама, без людей с кораблика. Я подошел и встал у барабана, чтобы успеть на спицы, если собачка проскочит. Мирта посмотрела и прогонять не стала. Собачка выдержала еще один день.

Потом я сидел у кладки с коробкой на коленях и думал про стук.

Ночью он шел снизу, через камень. Я слышал его в общем доме, через стену и через парусину. Человек в плаще сказал, что слышно от ниши. Сидел он у ниши, у чаши, где стояла коробка. Я до этой минуты не отделял одно от другого. Коробка в нише, стук у ниши. Только прошлой ночью коробка была уже на клипере, а стук был. Теперь я отделил, как отделяют на стенде шум насоса от шума трубы, заглушив одно и слушая другое.

Коробка стояла в нише. Коробка была пустым корпусом, без единой подвижной части, стучать в ней нечему. Стучало не в ней. Стучало внизу, в шахте, или под кладкой, или глубже. Люди в плащах слышали это, сидя у ниши, потому что ниша вырублена в той же скале. Они

принесли сюда корпус, потому что то, что стучало, по их разумению, просило. Просило чего? Корпус клапана просят туда, где клапана нет.

Если внизу насос, который хватает воздух, ему не хватает подачи. На листах Игната слово «подача» стояло внизу, подчеркнутое. Насосу без подачи не нужны уста. Ему нужно, чтобы в трубе была среда.

Из ящика я достал манометр.

Капсула из разбитого судового барометра, который принес шкипер бочечника, колодка, которую я вырезал сам, игла из спицы Неры по трем черточкам. Ноль, одна, две. Сеня читал его лучше меня. На кладку я лег животом, на край, над шахтой, опустил руку вниз, насколько доставала. Колодку положил на ладонь так, чтобы стрелку было видно сверху, при том свете, какой еще шел снизу, от облака. Рука ушла в шахту по плечо, ниже кромки кладки, туда, где не доставал ветер.

Воздух в шахте был другой. Неподвижный, холодный, с тем запахом железа, которое долго лежало в сырости. Такой запах стоял в подвале цеха, где лежали трубы, снятые с линии и не сданные в лом. Я ждал. Левая рука, в холсте, держала край плиты. Порез под холстом тянул, потому что держать приходилось всем весом. Кромка кладки врезалась в ребра. Под кромкой, в сажени от моего лица, в камне шахты темнела полоса, ровная, горизонтальная, другого оттенка, чем камень выше и ниже. Заметил я ее краем глаза, отметил, как отмечают все, что не на месте. Вернулся к стрелке.

Стрелка стояла у «ноль». Не ровно, чуть дрожала, как дрожит всякая стрелка на всяком приборе, который держат рукой. Дыхание я держал ровным и считал вдохи. Сверху, от домов, доходили голоса, снизу не доходило ничего. Облако лежало в семи саженях, ведро на канате чернело над ним. Шахта молчала, как молчит выключенный цех, в котором все равно что-то гудит, если прислушаться.

На четвертом вдохе стрелка дернулась.

Не к «две», не к «одной», а в ту сторону, коротко, на треть расстояния до «одной». Вернулась к «ноль». Я стал считать заново. Три вдоха, четыре. Дернулась снова. К «одной» и назад. Снизу, из шахты, пришло что-то, чего рука не чувствовала, а капсула чувствовала. Приходило оно толчками, через равные промежутки, такие же, как ночью между ударами.

Снизу что-то хватало. Хватало не впустую. Колодка показывала тягу, как показывала ее над глохнущей консолью у третьего причала, только там стрелка стояла, а здесь дергалась. Что-то шло по трубе, которой я не видел, толчками. Каждый толчок доходил сюда, до кромки кладки, как доходит до манометра на стенде каждый ход поршня, если насос хватает через раз.

Камень подо мной остыл, рука в шахте тоже, а я держал манометр на ладони, пока не перестал чувствовать пальцы. Стрелка дергалась. Ровно, через четыре вдоха, к «одной» и назад.

Глава 5

Вниз я собрался на четвертый день. Собирался с утра до полудня, потому что в шахту над облаком спускаются с первого раза. Второго раза облако не дает.

Канат ворота я осмотрел первым. В два пальца, пеньковый, с сердцевиной, которую здесь, видимо, плели из той же травы. Пропустил я его через ладони весь, от барабана до ведра, саженей десять с лишним. Нашел два места, где пряди вытерлись о кромку. Оба у самого барабанного конца, на последних оборотах, которые на такую глубину не разматываются. Показал их Мирте, она посмотрела и ничего не сказала, только отметила оба узелком, чтобы не разматывать до них. Ведро я снял и поставил у столба, где его подобрала девочка и тут же уселась на него, как на свое. Вместо ведра завязал на конце беседку, петлю, в которой сидят, как сидели на «Пронзающем» те, кого спускали красить борт. Мирта смотрела на узел и, когда я кончил, попробовала его рукой.

— Такой не поползет. Сам придумал?

— Так вяжут на судах. Я не придумывал, я запомнил.

— У нас так не вяжут. У нас в ведро ногу ставят и держатся за канат. Ведро, правда, не для людей.

Вторую веревку я попросил у Ермила. Он принес из общего дома канат потоньше, тот, которым крепят ленту к барабану. Смотрел, как я вяжу его к кольцу обвязки Сивого, тому, старому, которое Корней пришил слева. Узел я вязал тот же, что Корней вязал на крюках в стволе. Вязал его трижды, потому что в первый раз левая ладонь в холсте не дотянула петлю до конца, а во второй раз я сам себе не поверил.

— Зачем вторая? — Ермил держал в руках свой конец и смотрел на него с сомнением. — Ворот держит. Ворот и быка выдержит, мы на нем камень поднимали, когда кладку у домов чинили.

— Ворот держит, пока держит. Вторая веревка нужна всегда, даже когда первая новая. Если первая оборвется, вторая не даст мне упасть сразу. Если вторая не нужна, она просто висит. Это дешевле, чем человек.

Он покивал, как кивают на правило, которое не понимают, но которое не стоит ничего. Я показал ему, как держать. Оборот вокруг столба ворота, конец в руках, выдавать по мере того, как уходит канат. Он взял оборот и остался стоять с веревкой.

За ворот встала Мирта. Я не просил ее. Она встала сама, когда я подошел к барабану с беседкой в руках, взялась за ручку, как берутся за свое. Собачка на этом вороте была целая, я проверил ее утром. Ворот для ведра берегли.

— Почему вы?

— Потому что у нас кто держит ворот, тот и ест. — Улыбки на ней не было, присловье она сказала, как говорят то, чего уже не слышат. — Это не про тебя. Это про то, что ворот у артели главнее старшины. Кто его держит, того слушают. Я держу лучше всех, у меня ворот с самого замужества. Садись.

Руинщики, с которыми я ходил по стволу, держались обычая веревки. Обычай у них был длинный, с кольцами, узлами и тем, кто кому должен. Здесь был короче. Кто держит ворот, тот и ест. Я сел в беседку.

Хват подошел последним, когда я уже сидел на краю кладки спиной к шахте. Шел он от второго дома, от ящиков под парусиной, как ходил везде, с тесаком в руке, хотя до колодца было сто шагов по своему же острову. Он не стал ничего спрашивать, снял с пояса фонарь, солдатский, в проволочной сетке, с мятым стеклом, зажег его от своего кресала и протянул мне.

— Масла до вечера, если не трясти. А трясти ты не будешь, я видел, как ты по кладке ходишь.

Фонарь я повесил на пояс. Он кивнул, отошел и сел на кладку с тесаком на коленях, как сидел везде.

Девочка сидела на кладке с другой стороны, на нашем ведре, а свое, маленькое, держала между колен. Смотрела. Мирта не прогнала ее. В ящике я оставил все, что не понадобится внизу. С собой взял, за пояс и в карманы куртки Гната, ключ Мирона, оба щупа, лупу, тряпку от манометра и сам манометр в колодке, завернутый в холст. Ножовку оставил. Прутья оставил. В беседке с прутом за спиной не повернешься, а повернуться там, куда я лез, могло понадобиться быстро.

— Ты зачем туда лезешь? Там же темно.

Это спросила девочка, не вставая с кладки.

— Затем, что оттуда стучит. Надо посмотреть, что стучит.

— А если оно тебя ударит?

— Тогда я вылезу обратно. Для этого у меня две веревки.

Она подумала и кивнула, как кивнул Ермил. Правило ее устроило.

Сигналы мы условили заранее, при всех, чтобы не перепутать. Один рывок второй веревки, иду или жив. Два, стой. Три, тяни. Мирта повторила их вслух, Ермил повторил следом, девочка повторила за ними обоими, хотя ее никто не просил. Хват с кладки добавил, негромко.

— На Фронтире условливались так же, только рывков было четыре. Четвертый значил, что тянуть уже некого.

Никто не засмеялся, он тоже.

Старшина стоял шагах в двадцати, у столба, не подходя. Он не вмешивался, не помогал, не уходил. Стоял и смотрел, как я лезу в его колодец, на его канате, в его шахту, которую он, по словам Ермила, не видел ниже ведра ни разу за всю жизнь, потому что ведро у них не для людей, а лезть туда никто и не думал. Теперь было кому.

Я оттолкнулся от кромки.

Канат натянулся, беседка взяла вес, ворот скрипнул под руками Мирты, собачка щелкнула и села в зуб. Чисто. Беседка врезалась под колени, вторая веревка легла на кольцо обвязки и натянулась следом за первой, чуть слабее, как ей и положено. Ермил наверху держал ее правильно, с запасом в локоть, не в натяг. Этого я ему не говорил, он сам догадался или Мирта сказала. Ушел вниз на сажень, на вторую. Ворот стоял на самом краю, канат шел у стены, в локте от нее, так что стена была под рукой. Стены шахты пошли вверх мимо лица. Наверху кромка кладки стала узким кольцом света, в нем голова Мирты у ворота, голова девочки с другого края. Фонарь на поясе качался и бросал свет на камень то слева, то справа. Дышать я старался ровно, как учил Корней в стволе, потому что от дыхания зависит, как сидит беседка, а от беседки все остальное. Тело слушалось. Было оно легче матросов, которых спускали красить борт на «Пронзающем». Канат под ним не стонал.

На первой сажени я увидел полосу.

Ту самую, ровную, горизонтальную, которую заметил, когда лежал с манометром. Вблизи она оказалась швом. Выше шва камень шахты был сложен из плит, таких же, как в кладке наверху, пригнанных без раствора. Ниже шва он был сплошной, без швов, темнее, глаже, как будто шахту не выкладывали, а вырезали в скале одним инструментом, который я не мог представить. Тронул ладонью. Ниже шва камень был холоднее. Шахту не копали. Ее сделали. Кто и чем, я думать не стал, потому что на это у меня не было ни одного слова, а слова, которых у меня не было, я привык не выдумывать. Сделали хорошо, с ровной стенкой, как растачивают цилиндр. Этого хватало.

Ниже я спускался медленно, по полсажени. На каждом полсажени стучал по стене рукояткой ключа. Камень. Камень. Камень, везде одинаковый, без нитки. То, что я слышал наверху, стояло не в стенах шахты, а дальше от нее, под кольцом кладки.

На шестой сажени, у самого облака, воздух изменился. Стал сырым, тяжелым, с запахом той воды, которую черпали ведром. Фонарь начал тускнеть, потому что свет уходил в белое. Под ногами, в полусажени, лежала верхняя кромка облака, ровная и плотная на вид, как снег. Ведро мокло здесь. Я дернул вторую веревку дважды, как условились, чтобы остановили. Ворот наверху встал.

Висел я в беседке у самого облака и водил фонарем по стенам.

Щель я нашел не сразу, потому что искал щель, а нашел кладку. На той стороне шахты, что смотрела к нише, в сплошном камне, на полсажени выше облака, темнело пятно. Не отверстие, а участок, заложенный камнем. Сухим, без раствора, мелким, не тем, из которого сделали шахту, а обычным, с острова, таким, из которого здесь клали дома. Высотой в рост человека, шириной в два локтя. Между камнями, если посветить сбоку, были щели в палец, а из щелей тянуло. Лицом я почувствовал это раньше, чем понял, что это тяга. Кто-то когда-то закрыл здесь проход. Закрывал наспех, тем, что было под рукой.

Я подтянулся на канате, качнулся к стене, уперся в нее подошвами и вынул из кладки верхний камень. Он вышел легко, как вынимают камень из сухой стены. За ним была темнота. В открывшуюся щель потянуло воздух из шахты, и холоднее стало даже щекам.

Сухой. Холодный. С запахом железа, старого, долго лежавшего без дела. Фонарь в этом воздухе разгорелся ярче, пламя выпрямилось, чуть наклонилось внутрь хода и так и стояло, как стоит у приоткрытой двери, за которой тянет. Такой стоял в подвале цеха, где держали снятые с линии трубы. Воды в этом воздухе не было, облака тоже. Вынул второй камень, третий, десятый, бросал их вниз, в белое. Уходили они туда без звука. Потом перелез через нижний ряд, который не стал разбирать, встал на пол.

Пол. Ровный, из того же сплошного камня, что и шахта ниже шва. Я стоял на нем в рост, не пригибаясь, над головой оставалось еще с локоть. Фонарь Хвата осветил стены, ход, который уходил от шахты вперед и чуть вбок. В этом свете я увидел то, что не ожидал увидеть здесь, под островом травы, где не было ни кузни, ни латуни.

Ход был сделан так же, как шахта. Одним инструментом, без швов, в рост человека. Он шел вперед, насколько доставал свет. Стены его были гладкие, как внутренняя поверхность трубы большого диаметра. Труба, по сути. Только по ней должны были ходить люди. Ладонь я положил на стену. Сухая, холодная, без единой капли, хотя облако лежало в полусажени ниже. Облако лежало ниже порога; здесь, в ходе, стены оставались сухими. Пламя у входа тянулось внутрь ровно, а у меня на щеках быстро обсохла шахтная сырость. Откуда тяга, если ход закрыт, я не знал. Где-то он был открыт, только не в облако.

Веревки дальше были ни к чему. Беседку снял и привязал к нижнему ряду камней, чтобы найти ее на обратном пути. Второй конец, тот, что держал Ермил, отвязал от кольца обвязки и привязал туда же. Дернул его один раз, чтобы наверху знали, что я жив. Потом подождал, пока веревка перестала ходить у камня: наверху приняли сигнал и остановили ворот. Ермил поймет, что веревка пустая, по весу. Пошел.

Шаги я считал. На заводе так ходят по цеху ночью, когда свет выключен и надо дойти до рубильника. Десять шагов, двадцать, тридцать. Ход шел ровно, без ступеней, но на тридцатом шаге я заметил, что левая стена ближе, чем была, а правая дальше. Ход поворачивал. Не углом, а так, как поворачивает труба, уложенная по кругу. Прошел еще тридцать. Поворот был тот же. Еще тридцать. Я шел по дуге. Если дуга замкнута, она замыкается вокруг чего-то. Это что-то лежало от меня справа, за стеной, там, где был колодец и кольцо кладки над ним.

Ход шел вокруг. Обход. Так обходят в цеху станок, к которому нельзя подойти спереди, или котел, к которому не подходят вовсе, пока он под давлением. Что стояло в середине, я не видел и увидеть не мог, стена справа была глухая, без единого отверстия. Но восемь точек на листе Игната тянулись к одной дыре. Дыра была там же, за этой стеной. Ход огибал то, к чему тянулись консоли.

В полу, посередине, шел желоб.

Заметил я его не сразу, потому что он был залит вровень с полом. Шириной в локоть, с ровными стенками, которые я нащупал щупом, когда присел и провел им по камню поперек хода. Щуп пошел по камню, потом ушел вниз на волос, потом уперся в другое. Не в камень. В то черное, гладкое, стеклянное, что я скоблил в швах кладки. Только там оно было в шве, в палец шириной, а здесь заполняло желоб в локоть целиком, от края до края. Залито оно было доверху, с горкой, как заливает поддон шлак, когда его не выгребали годами.

Желоб. Канал. Обводной, потому что шел по обводу. По нему что-то текло вокруг того, что стояло в середине. Теперь по нему не текло ничего, потому что он был забит на всю длину, насколько доставал фонарь.

Я шел вдоль желоба с фонарем, опущенным к полу, смотрел на корку.

Она была не везде одинаковая. Где-то глаже, где-то в буграх. В буграх кое-где торчали вмерзшие в стекло вещи, которых я не узнавал. Обломки чего-то. Застывшие потеки. На сотом шаге от шахты, там, где дуга ушла уже далеко от входа, корка в желобе поднялась горбом, выше пола на ладонь. В горбу, под стеклом, что-то было.

Фонарь я опустил к самому полу.

Латунь.

Желтая, тусклая под черной коркой, но латунь, я бы узнал ее под чем угодно. Сначала я увидел край пластины, выпуклой, с ребром посередине, с той же насечкой по краю, какую видел каждый день в своем ящике. Потом вторую пластину, рядом, сложенную внахлест на первую, как складываются спинные пластины у твари, когда она втягивается. Потом, когда я поскоблил щупом корку с края горба, лапу. Одну, тонкую, в суставах, с пружиной внутри, которая прорвала латунную трубку и торчала наружу, как торчала у той, что лежала у меня на коленях в подсобке Урга, вскрытая, с пружинами наружу. Лапа была вмерзшая в стекло по сустав. Остальное тело уходило в корку. Где оно кончается, я мог только угадывать. Лупу я достал и поднес к пластине. Под стеклом насечка по краю была та же, что у моей, зуб в зуб, только забитая черным.

Ползун.

Такой же, как мой. Лап должно было быть шесть, видна была одна, остальные в корке. Усики сложены вдоль спины, как у моей, когда она спит, их я нашел щупом по бугоркам в корке над пластинами. Левый усик короче правого, не обломан, а короче, как будто такой и был. У моей короче правый. Отметил я это, как отмечают номер на детали, не думая, зачем. Того же размера, той же латуни, с теми же пластинами. Он лежал в желобе, в черной корке, сложившись, как складывается тварь на ночь в ящике. Корка покрыла его так же, как покрывала все остальное, ровно, не разбирая, где камень, а где латунь.

Присел и смотрел на него дольше, чем нужно было, чтобы понять, что он мертв.

Видно и так. Ни света в щели между пластинами, ни дрожи. Лапа в стекле. Он не втянулся, как втягивается живая тварь, когда боится огня, он просто остался там, где был, когда корка дошла до него. Я подумал о своей. О том, как она скребется в ящике по ночам, как носит гайки в котелок без ручки, как уходит в трубу под полом на стук в ворота. О том, что ящик, который стоял у меня в головах на клипере, был пустой, а ухо все равно ждало скребка. Сейчас ухо ждало его здесь, в желобе, от этого. От этого скребка не было и не будет. Смотрел я на пластины под стеклом и понимал, что моя тварь, если ее оставить в таком канале с таким шлаком, кончит так же. Никто, кроме меня, этого не знал, потому что никто, кроме меня, не видел живого рядом с мертвым в его работе. Мертвых я видел, шестерых в Горле, четверо из них лежат в мешке у Игната. Те умерли иначе, просто кончились. Этот умер на месте, в канале, с лапой в том, что чистил. Он чистил этот желоб. Знать этого я не мог. Но я знал, что моя тварь ела стружку и выгребала из пазов под седьмой сухой нагар, а этот лежит в канале, забитом тем

же нагаром, только спекшимся. Он чистил, а желоб заливало быстрее, чем он успевал чистить. Так кончает машина, которую оставили работать, когда подача кончилась, а остановить забыли.

Из кармана куртки я достал тряпку, ту, в которую заворачивал манометр, положил ее на латунь. Не знаю, зачем. На заводе так накрывают деталь, которую сняли с линии и еще не решили, в лом или на ремонт. Этот был в лом. Тряпку я все равно оставил.

Потом встал, потому что стоять на корточках над ним дальше было ни к чему. Прошел по ходу еще шагов двадцать. Дуга продолжалась. Желоб продолжался, залитый. Фонарь Хвата начал мигать, масла в нем было не на весь день. Я повернул обратно.

На обратном пути я шел медленнее, потому что фонарь давал меньше, а я хотел видеть стены. На правой стене, той, что теперь была внешней, на уровне груди, шагах в десяти от места, где я повернул, попалась выемка. Круглая, с ладонь, неглубокая, с гладким дном. Сунул в нее пальцы. Ничего. Ни следа от крепления, ни резьбы, ни нагара. Пустое гнездо под что-то, что когда-то здесь стояло и что сняли или что рассыпалось. Я запомнил место и пошел дальше.

У ползуна я остановился еще раз.

Я присел и положил ладонь на корку в желобе, рядом с тряпкой. Правую, с кругом ожога, потому что она чувствовала лучше. Корка была холодная, как стекло в мороз, гладкая. Держал ладонь и ждал, сам не зная чего.

Потом почувствовал. Не услышал. Ладонь к тому времени остыла до того, что перестала отличать стекло от камня. Я уже собирался ее убрать. Почувствовал ладонью, кожей, через стекло, через желоб, через весь камень под ним. Толчок. Короткий, глухой, снизу. Потом ничего. Считал вдохи. На четвертом второй толчок. Тот самый, который ночью доходил до парусины в общем доме и который дергал стрелку манометра у кромки шахты. Здесь он доходил до ладони раньше, чем до уха. Ухом в этом ходу я его не брал, сплошной камень глушил удар, как глушит кожух. Но ладонь его брала.

Под желобом, под коркой, под мертвым ползуном, глубоко, что-то хватало через раз.

Сидел с ладонью на стекле и считал толчки, как считал стрелку. Четыре вдоха. Толчок. Четыре вдоха. Толчок. Ровно, как часы, только медленнее. Фонарь на поясе мигнул еще раз и пригас.

Наверху Ермил держал пустую веревку и ждал, когда она снова натянется. Я встал, взял фонарь в руку и пошел к шахте, считая шаги в обратном порядке. За ползуном, на той же правой стене, попались еще два гнезда, таких же, с ладонь, через тридцать шагов одно от другого. Считать я перестал, потому что фонарь мигнул снова.

Глава 6

Корку я ломал три дня.

В первое утро, с полной бутылкой масла, я прошел ход до конца, не трогая корки. На сто сороковом шаге ход кончался стеной, такой же гладкой, как все стены, а желоб уходил под нее в низкий проем по своей ширине, забитый коркой заподлицо. Разглядывать проем я не стал. Чистить линию с конца, не пройдя ее от начала, на заводе не дают никому. Сначала линия.

Остаток первого дня ушел на то, чтобы понять, как она ломается. Прут, который я взял вниз на второй спуск, входил в нее плохо. Стекло не кололось, как стекло, а крошилось, как спекшийся шлак, слоями. Каждый слой надо было сначала надсечь по краю шилом под молоток, а потом поддеть прутом снизу. Если бить сверху, прут отскакивал. Если поддевать, слой отходил пластом в ладонь толщиной и ломался в руках на куски с острыми кромками, которые резали холст на левой ладони, как режет жесть. К вечеру первого дня я прошел от щели по желобу десять шагов. Порез на левой открылся снова, холст пришлось перевязывать при фонаре, зубами и правой.

Второй день пошел быстрее, потому что я перестал ломать все подряд. Желоб был в локоть шириной, а чтобы пошла среда, хватало полосы в две ладони. Снимал корку только посередине, канавкой, а то, что не мешало, оставлял. На заводе так чистят забитый канал, когда надо пустить среду, а не вылизать его до блеска. Среда пройдет по канавке. Остальное, если пойдет, смоет само, как смывало у нас нагар в продутой трубе.

Крошево поднимали ведром, тем самым, для воды. Его спускали мне на канате, я набивал его осколками, дергал один раз. Мирта наверху крутила ворот. Ведро уходило вверх мимо шва в стене, в кольцо света. Там его принимали и высыпали на кладку. Потом оно шло вниз пустое. Наверх шло не все. Большую часть я отгребал валиком к стене хода, а ведром поднимал то, что набиралось у щели, где грести было некуда. За день выходило ведер пятнадцать. Корку, которую высыпали наверху, я видел вечером, когда вылезал. Черная куча у столба, блестящая на солнце, как куча битого стекла на свалке за цехом. Старшина подходил к ней каждый вечер, брал кусок, смотрел, клал обратно. Ничего не говорил. На второй вечер он взял кусок побольше и унес с собой. Потом я видел, что кусок лежит у него на подоконнике, на виду, как кладут вещь, которую хотят понять. Пелагея, старуха от очага, тоже приходила, опираясь на палку, трогала крошево носком и говорила в сторону, не мне и не старшине.

— При старом старшине из колодца одну воду доставали. Черное-то и тогда внизу лежало, только за ним туда никто не лазил. Вот теперь и увидели, сколько накопилось.

Третий день начался с того, что Хват спустил мне на канате второй прут, который я забыл наверху.

— Будешь инструмент наверху забывать, парень, возьму с тебя за доставку! Парусиной, тут все парусиной берут!

Голос его в шахте звучал так, будто он стоял рядом.

Девочка носила мне воду, не вниз, вниз ее не пускали, а на край кладки. Ставила свое маленькое ведро у столба, садилась на корточки у кромки и смотрела в шахту, в темноту, где я был. Когда ведро с крошевом шло вверх, она считала его вслух.

— Семь. Восемь. Это много?

— Это мало, — отвечал я снизу. — Много будет, когда дойду до конца.

— А где конец?

— Не знаю. Когда дойду, скажу тебе первой, ты все равно тут сидишь.

Она принимала это так же, как принимала правило про две веревки. Мирта пару раз прогоняла ее от края, она уходила и через час сидела там опять. На третий день Мирта перестала

прогонять. Сама она стояла у ворота все три дня, от света до темноты, с руками в порезах от травы и от каната. Когда я спрашивал, не сменить ли ее, она не оборачивалась от барабана.

— Ворот мой, канал твой. Каждый при своем.

Ермил сменял ее на час в полдень, чтобы она поела. Вторую веревку, пока я висел в шахте, держал Ермил, обнеся ее вокруг столба, а в полдень, когда он вставал за ворот, ее брал Хват. Больше она никому ворот не давала.

Корка резала руки. К концу второго дня я нашел, что она делает еще.

Это вышло случайно. Я отправил наверх ведро, вылез вслед за ним, чтобы размять спину. Стоял у ворота, пока Мирта высыпала крошево. Один осколок, с ладонь, гладкий с одной стороны, упал на кладку рядом со стойкой ворота и покатился к подножию стойки. Подобрал его. На оси ворота, там, где барабан терся о стойку, была набита медная бляха, в ладонь, чтобы дерево не стиралось, темная от смазки. Я поднес осколок к бляхе, просто так, посмотреть, как черное выглядит рядом с медью.

Пальцы щипнуло.

Не сильно. Так щиплет, когда берешься голой рукой за клемму, под которой осталось напряжение. Короткий укус в подушечки пальцев. В том месте, где осколок коснулся меди, мигнула искра, маленькая, синяя, такая, какую видно только потому, что ждешь. Осколок я убрал. Посмотрел на пальцы. На подушечках ничего, ни ожога, ни следа, только то чувство, какое остается после клеммы, когда кажется, что в пальцах еще что-то гудит. Поднес снова. Еще раз щипнуло, слабее. На третий раз ничего. Осколок отдал, что в нем было. Попробовал другой, с той же кучи. Щипнуло. Третий, из тех, что лежали на кладке со вчерашнего дня, на солнце. Ничего. Свежий давал, лежалый нет. Я отметил и это.

Я стоял с ним в руке и смотрел на бляху.

Стекло не дает искры на медь. Шлак тоже. Эта корка не была ни тем, ни другим. Она была тем, что ела моя тварь, а тварь ела не камень. Осколок я положил в карман куртки, отдельно от ключа и щупов. Никому ничего не сказал. Когда находишь на линии то, что бьет током там, где не должно, об этом сначала думают, а говорят потом. Потом я вернулся вниз. Думал об этом весь следующий день, ломая корку.

На третий день канавка дошла до стены. От щели по дуге я прошел сто сорок шагов, мимо ползуна под тряпкой, которого обошел канавкой по краю желоба и не тронул, мимо пустых гнезд в стене, которых насчитал уже пять. За ползуном корка пошла тоньше, в два пальца, как будто туда, за него, того, что ее растило, доходило меньше. Проем под стеной я ломал до полудня. Под коркой оказалась не стена.

Плита. Каменная, в локоть шириной, во весь желоб, стоящая поперек него в пазе, вырезанном в стенках желоба с обеих сторон. Проем она и закрывала, наглухо, как шибер закрывает трубу. Верхний край ее, гладкий, за который когда-то, видимо, брались, выступал над полом на ладонь, а выше шла стена. По всем кромкам, где плита входила в паз, корка наросла так же, как в желобе, только здесь она была старше и тверже. Вошла в щель между плитой и пазом, как входит ржавчина в резьбу, которую не трогали лет десять.

Заслонка.

Корку с ее верхнего края я сбил прутом, чтобы посмотреть, как плита сидит. Под коркой край был ровный, с фаской, обработанный так же чисто, как седло в коробке Евстрата. Тот же инструмент, та же рука, или то же, что здесь считалось рукой. Палец прошел по фаске. Холодная, гладкая, без единой зазубрины за все годы, что ее никто не трогал.

Присел перед ней с фонарем и долго смотрел. Задвижка на канале. Канал обводной, вокруг чего-то, а на канале заслонка, которой его перекрывали. Кто-то когда-то ее закрыл. Потом канал залило коркой, ползун умер в корке, а заслонка осталась закрытой. За ней, если за ней что-то было, оно было по-прежнему.

К плите пришлось лечь ухом. Камень был холоднее, чем стены. Холоднее, чем корка. Вдохи я считал, как у ползуна. На четвертом вдохе пришел толчок. Здесь его было слышно. Не ладонью, ухом, глухо, но ясно, как слышно через стенку цилиндра, когда в нем ходит поршень. Удар. Четыре вдоха. Удар. За плитой, с той стороны, что-то било. Било ближе, чем у ползуна. Ухо я убрал, приложил ладонь. Ладонь взяла тот же толчок, только сильнее, чем у ползуна, так, что в костяшках отдалось. Манометр у кромки плиты не шевельнулся. Корка держала плиту так, что с той стороны не проходил воздух.

За заслонкой было то, что стучало. Или путь к нему.

Сидел я перед плитой долго. Фонарь Хвата горел ровно, потому что масла я брал с собой на весь день в бутылке из-под уксуса, которую дал Ермил в первое же утро. Думал про заслонку. Ее можно было вынуть. Паз был виден, плита в нем сидела плотно, но не намертво, корка держала ее только по кромкам. Корку я теперь умел ломать. Два прута, один с одной стороны, другой с другой, снизу под край, поднимать. Одному не поднять, плита весила, по виду, пуда три. Вдвоем можно.

Что будет, когда плиту вынут, я не знал. Это меня и останавливало. На заводе, когда открывают задвижку на линии, которую не открывали десять лет, за ней может быть что угодно. Пусто. Среда под давлением. Среда, которой давно нет, а за задвижкой стоит такой же шлак, как перед ней. Открывать задвижку, не зная, что за ней, один человек в цеху не имеет права. Там у задвижки стояли двое, на линии манометр, а за спиной начальник смены. Здесь был я, манометр и Хват наверху с тесаком.

Встал, воткнул второй прут в корку у самой плиты, чтобы было видно, где кончил. Пошел обратно с фонарем.

Хват все три дня сидел на краю колодца, не над шахтой, а чуть в стороне, на кладке, с тесаком на коленях, там, откуда видно было ворот, столб, второй дом с ящиками. Утром до света мы делали пропись у причала, сначала одно движение, потом два, на третий день три. Второе шло от первого, тесак из верхней точки возвращался вниз и в сторону, не кистью, а всем корпусом. Ноги при этом должны были стоять, как ставил их Хват, одна чуть впереди. Третье я не понял до конца. Он показал его дважды, медленно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.